

ПЛЕМЯ МЛАДОЕ

Глава первая

1

День был на исходе. Большая сильная машина, поблескивая черным лаком и никелем, неслась по широкому, прямому, как луч, Илийскому шоссе к Алма-Ате. Нил Карпов неотрывно смотрел на горы и не мог насмотреться.

Ему вспоминались любимые в детстве сказки о дивах-исполинах, которые за ночь воздвигали дворцы, в один миг выращивали леса, расталкивали скалы, осушали озера. Ныне эти дивы, обладатели колдовской мощи, творили чудеса на хребтах Алатау. Краски менялись с неуловимой быстротой.

Вначале крутые лесистые склоны, и просторы лугов, и голые каменные обрывы затянуло розовой кисеей. Далекие снежные вершины налились малиновым соком. Затем волной, снизу вверх, и леса, и луга, и скалы, и редкие снежные шапки покрыла плотная багровая пелена, под которой не отличишь гребня от ущелья. Незаметно она выцвела и стала нежно-лиловой, потом буро-коричневой, будто под тенью от тучи, потом густо-синей. И наконец хребты почернели, слились в отвесную стену, а поднебесные белки высветились и бледно засияли под звездным светом.

Подобно высокому берегу, горы подпирали с юга великий океан казахстанской степи, нередко плоский, как в щитиль, но чаще вздыбленный валами холмов с зелеными барашками, точно в свежий ветер.

И казалось Карпову, что эти высоты и просторы открываются ему в особом сокровенном значении. Глядя на горы и степи, он словно бы воочию видел уходящую в бесконечность историю. Снежные вершины напоминали вознесшуюся ввысь мечту, неоглядная ширь степей звала в заветные дали. И хотелось думать и говорить о самом значительном, самом главном в жизни, хотелось работать на этой прекрасной земле.

В Алма-Ате случай свел Карпова с двумя интересными людьми — казахом и казашкой. Познакомились они в доме отдыха, в яблоневом саду, растянувшемся на многие километры по скату Малого Алма-Атинского ущелья. И были это Жакен Асанов, смуглый скуластый человек с головой Сократа, заслуженный врач, перешагнувший порог шестидесятилетия, и Асия Алимова, миловидная женщина лет тридцати, с темно-русыми выюющимися волосами; полные губы ее слегка подкрашены, узкие глаза поблескивают из-под очков в роговой оправе.

Жакен Асанович поражал своим самобытным и немирным отношением к вещам. Он был горяч, задирист и пристрастен, как юноша. Ему были отнюдь не чужды чувства гордости и восхищения, но он высмеивал всякую восторженность.

Первым долгом он «распушил» свою родную любимую Алма-Ату.

Нравится город? Красивый? Да, много зелени... Быстро растет... Сорок лет назад здесь жило сорок тысяч человек, ныне — полмиллиона. Шатры старых тополей, кудри садов превращают улицы в сплошные тенистые парки. Без зелени город задыхался бы от зноя и пыли, но как он строится? В центре великолепные новые здания, а в них превосходные новые учреждения: больше десятка вузов, Академия наук, Театр оперы и балета, кинотеатры. Сколько нарядных площадей с фонтанами и пышными цветниками, сколько улиц, одетых в чистый асфальт! А уйдите из центра — и за шпалерами зелени увидите убогие дома-лачуги и хибары времен укрепления Верного и генерала Фольбаума и теперешние саманные одноэтажки кишлачного

типа, избушки на курьих ножках... Смотришь и думаешь: век нынешний иль век минувший?..

Карпов не соглашался. Алма-Ата со статуей Ленина в центре, ставшей как бы сердцем города, представлялась ему площадью цветов. На прежней окраине, на виду у гор и полей, Карпов видел новые белостенные улицы и кварталы, алма-атинские Черемушки. Что касается избушек на курьих ножках, то их найдешь ныне во всех наших столицах! И именно около своих Черемушек... Это типичная примета кипучей стройки: стрела крана и бетонное перекрытие в синем небе, а внизу, сбоку — бревенчатая дачка с палисадничком, сарайчиком, погребком, грядкой и бочкой дождевой воды, доживающая последние дни. Жакен Асанович слушал и загадочно улыбался; втайне он был доволен, что ему возражали.

Асия казалась мягче своего старшего друга. Она спорила с ним и даже упрекнула в гонении на Алма-Ату, перефразируя слова Софьи из «Горя от ума». Но и в ее суждениях было немало соли. И складывалось впечатление, что Асия и Жакен соревнуются в прямодушии, видимо понимая, зачем Карпов едет в Казахстан.

Как-то перед вечерним киносеансом Карпов вышел побродить у цветника близ главного корпуса и увидел рядом с Асией и Жакеном Асановичем молоденькую девушку. Одета она была в просторное шелковое платье свободного покроя, такие носят на юге, в хлопковых районах, на ногах черные тугоносые туфли и чулки из грубой шерсти. Темный загар, притушивший румянец, выдавал приезжую из кишлака. Держалась она застенчиво — краснела и смущалась при каждом слове, от каждого взгляда. Но хороша была на редкость.

Карпову запомнилось ее имя, похожее на вопросительный возглас, — Айслу. Оно означало — Лунная красавица. Удивительные у нее были глаза — серые, в жгуче-черных ресницах, блестящие, словно от слез.

Жакен Асанович говорил с ней по-отцовски нежно и... по обыкновению сердито.

— Если бы вы знали язык, — сказал он Карпову, — по моему выговору поняли бы, что я из южной области. Это моя землячка. Отец ее, Сапар, был перво-

классным фельдшером, моей правой рукой. Он погиб на фронте... Завещал мне опекать своих сирот. Вдова Сапара, еще молодая, больше замуж не пошла, не желала. А я вот вижу их раз в год. Живут они в достатке — хороший колхоз, хлопковый. Но не единственным хлебом мы сыты. Приехала моя дочка сдавать экзамены на биофак университета. И что же? Больше средней отметки по физике и химии не вытянула. Тройки! Думаете, я ее виню? Нисколько. Девушка способная, в отца. Вы не смотрите, что она стеснительна, это во все не провинциальное; у нас положено девушке быть тихой... Весной она окончила десятилетку в числе лучших. Я на нее крепко надеялся. И сейчас верю в нее. Но что поделаешь, если в школе нет кабинетов физики и химии. Все опыты проделываются, так сказать, устно. А учителя большей частью середнячки. Мы в этом виноваты, Нил Петрович, мы с вами! Вы опять не согласны со мной?

— Опять согласен,— ответил Карпов, смеясь.

Айслу, видя, что старшие разговорились между собой, отошла в сторонку. За ней медленно, скованным шагом пошел молодой человек, брат Асии, приехавший сюда навестить сестру. Парень был столичным студентом и недурен собой, но перед этой колхозной девушкой робел. Они остановились возле цветника. Айслу привлекали незнакомые ей цветы — огромные, величайшие с кулак канни, махровые георгины, львиный зев и черные розы. Она разглядывала их с детским любопытством и изумлением.

— Будете биологом — займитесь, конечно, ботаникой... — сказал студент с неловкой улыбкой. — Вы и сейчас изучаете цветы глазом специалиста.

Айслу приняла его слова за насмешку.

— Может, и буду. Может, и изучаю, — ответила она независимо и немного грубовато и повернулась к студенту спиной.

Из-за цветочной клумбы донеслось сдавленное и язвительное хихиканье. Там на длинной скамье сидели женщины. Их было четыре, все расположившиеся, приземистые, с насурьмленными бровями, одетые в доброгие платья из панбархата.

Карпов удивленно посмотрел в их сторону. Каждой было лет за сорок. Держались они непринужденно,

даже развязно. Говорили без умолку, громко, не обращая внимания на то, что их слышат. Поглядывали на всех с важностью и показным безразличием.

— Видите, видите,— сказала одна, кивая в сторону Айслу,— подошел к ней сверстник, ровня, так она его близко не подпустила.

— А что? Коль ты мужчина, так и будь мужчиной! — сказала другая.— Больно мне нужны недоросли. Вот что она ему показала!

И все четыре расхохотались.

— Понятно, что такой ее не обеспечит,— сказала третья.— Он для этого молод. А ей подай машину, квартиру в три комнаты, одеться по моде, танцы и все прочее. Сразу видать, чего она тут разнюхивает.

— Едут, едут из кишлаков,— со вздохом проговорила четвертая женщина, с приплюснутым носом на плоском лице, потягивая надломленную папироску,— на словах учиться, лечиться, к родичам приютиться, а на самом деле клевать наши глаза. Нынче в районе собаку на привязи не удержишь, не то что этакую паву с косами до пят. Заметили, какие у нее волосы? Ни черные, ни рыжие, ни каштановые... А на солнце — как золото. Помилуй бог, чтобы мужчины этого не разглядели.

И опять они, точно по команде, оглянулись на уединенную беседку под крупными развесистыми яблонями. Там сидели мужчины, двое в пижамах, двое при параде — в черных костюмах и крахмальных сорочках. Мужчины играли в карты; судя по всему, это был затяжной преферанс на большие деньги. Карпов видел в беседке картежников с утра и уже не первый день. Они часами не поднимали голов от карточной колоды.

Между тем женщины по ту сторону цветника вновь развеселились. В беседке хлопали картами по столу, а на скамье — ладонями по грузным бедрам. И по обрывкам фраз Карпов понял, чему радуются эти шумливые дамы,— они нашли в Айслу какой-то изъян, они упивались своей находкой.

«Кто ж такие?» — подумал Карпов, почесывая двумя пальцами седоватый висок.

Жакен и Асия невесело рассмеялись.

— А у вас тонкий слух,— сказала Асия, и в голосе ее слышались и смущение и гнев.— Этим особам

ненавистны все женщины,— конечно, молодые, обра-
зованные и воспитанные. Излюбленное их занятие —
злословие против всех, не похожих на них самих. К со-
жалению, у нас, казалось бы, в самой культурной сре-
де — ученых, писателей, ответственных работников,—
сплошь и рядом встречаются такие вот тетки, способ-
ные клевать печень у Прометея. Они никогда не рабо-
тали и знать не знают, что такая ответственность или
солидарность. Но им все доступно! Со своими мужья-
ми они изъездили целый свет, побывали и там и сям
прежде всего на курортах, разумеется. Знакомы лично
со многими знаменитостями. В театрах первые-вторые
ряды постоянно за ними или, точнее говоря, под ни-
ми... На банкетах, приемах лезут на самые видные
места. Как же, мужья скончались! Ни в людях, ни в делах
они толком не разбираются, зато знают толк в модных
ателье. Шьют себе платья раньше и чаще, чем эстрад-
ные певицы. Иные выезжают с мужьями за границу во
всей своей красе. Вот уж поистине, как сказал про-
фессор Горностаев в пьесе Тренева: «Пустите Дуньку
в Европу!» В институтах эти женщины не учились, в
жизни не посещали библиотек. Нахватались, наслуша-
лись чего попало, чего бог послал. И пожалуйста, вер-
шат «общественное» мнение на уровне кухонной
склоки...

Жакен, посмеиваясь, с веселым лукавством посма-
тривал на Карпова, словно призывал его: слушайте,
слушайте!

— Что всего горше и тяжелей,— продолжала
Асия,— это потуги наших тетушек судить и рядить.
Предел их возможностей, взглядов и вкусов навек уста-
новлен. Парижмажером и портным! По-настоящему они
не ведают ни добрых народных обычаяев, ни нынешних
европейских норм воспитания и общежития. Очень от-
сталые люди, может быть, самые отсталые среди нас...
Но при всем том нет такого занятия, нет такого раз-
говора, в которые они не сунули бы носа. Апломб оше-
ломляющий! Что они превзошли до тонкости — слу-
жебное соперничество своих мужей, всяческие ранги,
посты и номенклатуры... Ну и, конечно, женский, я бы
сказала, дамский вопрос... Заметьте себе: все они ма-
тери больших семей, нарожали много детей, у них
сыновья и дочки. Но молодая, одаренная, растущая

женщина для них то же, что заяц для собаки. Позволь им — не пощадят, затравят, изведут сплетнями. Вот какие милые тетеньки.

Жакен добавил:

— Надо вам сказать, есть у нас сплетницы анекдотические, просто легендарные. Одна из них получила прозвище — Всеказахстанский осек-центр. Осек — значит сплетня. Ее коронная тема: какая актриса с каким министром в интимной связи. Страшная... гм, баба! Вреднейшая... Лекарство, вернее, противоядие, тут одно — смех, сатира, причем безжалостная, жгучая, как огненная палица тех ангелов, которые расправляются с грешниками в аду. Знаете, чтоб паленым пахло!

Карпов живо представил себе огненную палицу, «тетушку» с надломленной папирой и запах паленого и поймал себя на том, что слушает Жакена Асановича с удовольствием.

Жакен подозвал Айслу, взял под руку Карпова, и они вместе поднялись на второй этаж главного корпуса в небольшой кинозал, где должен был начаться фильм.

Следом потянулись женщины с длинной скамьи и мужчины из беседки. Они сели через ряд позади Жакена и тотчас принялись громко шептаться.

— Которая, говорите, которая?

— Где ваша красавица?

— Ах, вон она... с толстыми косами...

— Но я ее совсем не вижу. Эта голова передо мной все закрыла. Чья это голова? В точности как у архара! Откуда она взялась?

Один из мужчин фыркнул, другой засопел. Видимо, они были еще и в подпитии. Их душил смех.

Жакен Асанович неторопливо повернулся к ним с улыбкой простодушной и почти доверчивой. Шутники были ему знакомы — все четверо из Министерства культуры.

— Добрый вечер, уважаемые, — сказал он со словесной мягкостью. — Кажется, вас беспокоит чья-то голова. А ведь секрет прост: когда четверым казахам недостает головы, сам аллах посыпает им на четверых голову горного барана!

«Уважаемые» откинулись на стулья и стали хохотать. Однако тут же умолкли, кисло осматриваясь, по-

тому что смеялись все, кто был в зале, кроме четырех женщин.

После киносеанса Жакен Асанович сказал Айслу:

— Тут, доченька, неподходящая для тебя компания. Поезжай-ка, милая, в город. И матери твоей будет спокойней. И тебе, право, веселей. Но не спешите домой. Я вас завтра же навещу, посоветуемся. Что ты на это скажешь?

Айслу вздохнула с облегчением, а студент, брат Асии, огорчился.

Пошли проводить Айслу к автобусу. И лишь напоследок Айслу с Ильяном обменялись взглядами и едва приметными поклонами. Парень был горд, а это не приятно, когда красивая девушка с тобой холодна. Парень был скромен и еще не научился понимать девушек. Он не видел, что за ее холодностью кроется смятение. Ей тоже не хотелось с ним расставаться.

2

В субботний вечер Асия пригласила Карпова и Жакена Асановича в филармонию на концерт.

— Кого же будем слушать? Неужели нашу милую Камал Аманову? — спросил Жакен Асанович.

— Да, и ее...

Жакен с комической мольбой воздел руки к небу.

— Послушайте, разве не довольно того, что она по радио терзает наши уши каждый день раза по три? Что за наказание, Нил Петрович! Коль скоро дают казахский концерт, непременно в нем Камал. Один наш поэт посвятил ей стихи, истинный крик души. Порусски они звучат примерно так:

Она лишь поет — не ест, не спит,
У нашей Камал отдыха нет.
Куда ни беги, как ни воли —
От нашей Камал спасу нет!

Карпов рассмеялся. Жакен повернулся к нему с угрожающим видом.

— Интересно, что с вами будет, когда вы ее увидите на сцене.

Назвать ее женщиной — мужеподобна,
Назвать ее мужем — слишком пухла.

— Это уж экспромт самого Жакена Асановича,— заметила Асия, по-видимому, несогласная с таким суровым судом. Впрочем, затем она добавила: — Своеобразная певица. Она думает, что народные песни надо не петь, а кричать. Одним словом, это Камал...

Поехали в город.

На Пушкинской улице у филармонии теснилась говорливая толпа. Бросались в глаза цветастые платья женщин. Много было казахов, одетых по-праздничному. Попадались и люди в сапогах. Все настроены весело, приятно возбуждены.

Но здание филармонии выглядело неказисто. Оно словно не разделяло настроения публики. Карпов отметил про себя, что входные двери узки и неудобны, фойе тесно, тускло освещено. Кабинет дирекции с низким потолком и аляповатыми крашенными стенами походил на коридор; на балкон вела деревянная лестница.

Директор сам провел гостей в зал, усадил в первом ряду. Сцена оказалась настолько близко, что боязно было наклониться, чтобы не уткнуться носом в ее передний выступ. Зал, тоже невысокий, длинный, напоминал Карпову клубные залы времен первой пятилетки... Бедновато живет столичная филармония! Вид у нее падчерицы. И хотя не по одежке ценят человека, а театр — не по зданию, не верилось, что здесь центр большой музыкальной культуры.

Тем не менее зал был полон. Отзвенели звонки, начался концерт, и вскоре Карпов забыл, с каким чувством вошел сюда. Открылся простенький занавес. И вновь степное приволье распахнулось перед Нилом Карповым. Им овладело то чувство, пронзительное, величавое и слегка печальное, которое он испытывал, глядя на Алатау.

Выступала хоровая капелла. Карпову не раз доводилось слышать, что казахи любят и умеют петь; много в народе сочинителей песен — и слов и музыки. Теперь Карпов убеждался в этом. Подчас казалось, что в зале не удержатся и запоют вместе с капеллой.

Молодая русская женщина управляла большим хором, искусно и тонко выявляя самобытные интонации казахской народной песни. И летела песня, точно на орлиных крыльях,— кипучая, темпераментная, полно-

звукная, многокрасочная, богатая сложными ритмами и чудесными, чарующими мелодиями. Казахские напевы протяжны, широки, как земля, на которой они родились, и Карпов ясно ощущал, как они близки русскому слуху. Он подолгу аплодировал каждому номеру.

Жакен и Асия о чем-то шептались, поглядывая на Нила Петровича. Он заметил это и улыбнулся им: хороши, хороши ваши песни!

После хоровой капеллы выступил знаменитый оркестр казахских народных инструментов, названный именем народного бунтаря, удивительного композитора Курмангазы, которого царские власти и местные бай почитали разбойником и конокрадом. Этот оркестр Карпов слушал еще в Москве на декадных гастролях.

Курмангазы сочинял кюи — инструментальные этюды-картины и сам исполнял их на домбре. Он был несравненным, потрясающим виртуозом-кюйши; в его руках домбра звучала, как в руках Паганини скрипка. Ныне его кюи исполнял оркестр — первый в истории казахской музыки.

Как и следовало ожидать, были сыграны и «Сары-Арка» и «Адай-кыз». Им неистово аплодировали, кричали «бис». Хотелось услышать их вторично и Карпову. Асия коротко поясняла ему: сары-арка означает — золотая степь; это привет скитальца родным краям перед изгнанием. Адай-кыз означает — девушка из рода Адай; это песня о самом воинственном и непокорном племени в степи. Все кюи Курмангазы были связаны с бесчисленными потрясениями в его жизни ибросли множеством преданий.

Помимо Курмангазы оркестр сыграл несколько вещей Глинки, Чайковского, Шопена. Карпов слушал с наслаждением. Кюи звучали мощно, с захватывающей силой. А Глинка, напротив, необыкновенно нежно, прозрачно, как бы акварельно, по-видимому, оттого, что в оркестре не было труб и тромбонов.

Карпов присматривался к слушателям и старался представить себе, как бы приняли оркестр в больших городах Запада и Востока знатоки и ценители, привыкшие к звучности современного симфонического оркестра.

Наверно, любителям оглушающих эффектов джаза этот ансамбль вряд ли понравился бы. Тут не было ин-

струментов, которые резали ухо, раздражали нервы. Но как нежен и сладостен был их скромный голос! Мягкое, ласково обволакивающее звучание кобызы, особенно на высоких регистрах, напоминало человеческий голос, голос женщины. И только кюи Курмангазы бурлили, гремели, как вихри, как горные реки, как топот табуна. Но это уже колдовство Курмангазы — он сочинял для домбры...

Объявили антракт. Зрители не задерживались в унылом фойе, выходили на улицу. Вышли и наши друзья. И тут Жакен, словно обуреваемый нетерпением, принялся за свое. Его замечания были шутливы и неожиданны.

— Согласен, согласен, поют превосходно,— сказал он.— Но вы посмотрите на женщин-хористок. Что за коллекция, Асия, простите меня! Одна — тучная, круглая, как бочка, другая — тощая, как жердь. Эта курносая, та подслеповатая. Мужчины с кадыками, но те хоть во втором ряду. А уж первый ряд, первый ряд!

Карпов возразил:

— Это ли беда, Жакен Асанович? Были бы голоса.

— Разумеется! Не спорю,— с горячностью подхватил Жакен.— Беда в том, как этих певцов выбирали. Думаете, по конкурсу, лучших? Ошибаетесь. По телефонному звонку родича или приятеля! По принципу землячества. Многие по сей день и в нотах не разбираются, у них не только музыкального, а никакого образования нет. Вот беда!

— Однако поют все же недурно,— сказала Асия примирительно,— и курносые и с кадыками...

— У нас весь народ поет! — возразил Жакен.

Карпов в раздумье провел двумя пальцами по седому виску.

— Знаете ли, что мне сегодня не показалось? — заметил он, как бы сомневаясь в том, уместно ли его суждение.— Откровенно говоря, костюмы оркестрантов. Бешметы, шаровары... Мы давно не носим таких материй, они идут на обивку диванов, на портьеры. И портьеры такие считаются сейчас приметой невысокого вкуса. А тут на музыкантах все бархат да плюш... на полах, рукавах позументы, галуны, и все серебро да золото! Невольно на ум приходит ливрея или повсская риза...

Жакен внимательно слушал и исподлобья поглядал на Асию. Карпов стесненно пожал плечами.

— Возьмите узоры на женских тюбетейках, на безрукавках... Это же елочная канитель, мишура. Или манера украшать тюбетейки перьями... Перьято не с павлина и не с беркута. Видно, что куриные! Им место в этнографическом музее. Конечно, правильно, что для покроя костюмов взяты народные образцы. Но нужна мера. Так ли уж обязательно бежать без оглядки за давно обветшившей и, я бы сказал, деревенской модой? К чему эта тяжеловесность, эта пестрота? Кто ими любовался? Бай... Батрак.... Их нет в зале! Нет и в помине.

Жакен, очень довольный, вынул из кармана платок и трубко высморкался.

— И еще я хотел бы сказать,— продолжал Карпов,— относительно домбры. Я слыхал, что она усовершенствована. И, по-моему, в ансамбле звучит хорошо, красиво и даже сильно. Но вот вышел солист. Тоже сыграл кюй. И сразу обнаружилось, как она малозвучна... беспомощна... Этого, мне кажется, нельзя не заметить. У нее всего две струны, звук приятный, мягкий, но слабый. У нашей балалайки стальные струны, их три, а и ей трудненько на сцене филармонии. И гитара о семи струнах пасует перед тем, что может концертный рояль, хотя я, например, ее люблю...

Асия стояла, опустив голову. Она никогда так не думала о домбре и была несколько задета. Родилась Асия в Западном Казахстане и с детства привыкла слышать домбру в каждый радостный и печальный час — и в ауле и в городе, в домах и в юртах. Асии трудно было понять, как это домбра малозвучна и беспомощна.

Задумался и Жакен Асанович.

«Наверно, так оно и есть, как он говорит,— думал Жакен.— Это человек со свежими ушами. Он улавливает то, что мы уже не слышим по привычке...»

И Нил Карпов ясно почувствовал в эту минуту, какая верная, горячая и нежная любовь к родному дому, к родной музыке стоит за непримиримой и строптивой критичностью Жакена, за суровостью и строгостью Асии. Они ненавидели обывательщину, принявшую облик «осек-центра», стыдились ветхих домов в Алма-

Ате и воллей Камал Амановой. Но домбра... двухструнная утешница, которую держали в руках Курмангазы и Дина Нурпесова, Абай и Джамбул... Похоже было на то, что Асии она еще милей, чем Жакену Асановичу.

Жакен, тихо посмеиваясь, с добродушным интересом поглядывал то на Асию, то на Карпова. Потом сказал мнимо сердито:

— Спорим и спорим! А в душе — мне так кажется — нас трое...

— И мне так кажется, Жакé,— ответила Асия. И Карпов знал, что означает такое сокращение имени у казахов. «Жаке» было почтительно-ласковым обращением к старшему.

После концерта по пути в дом отдыха, в горы Жакен шутливо заметил:

— Сообщаю вам, Нил Петрович, мы вами недовольны. Вы скрытничаете. Но все равно, самое важное о вас нам известно. От сестры-хозяйки Нины Николаевны! Она всегда все обо всех знает раньше других. Нам известно, что вы получили назначение.

Карпов нахмурился, почесал двумя пальцами висок и сказал с сердечностью:

— Ну, и я вам сообщаю. Я рад, что встретился с вами и что вы, скажу грубо, не казенные души! Хотел бы и впредь видеться с вами почаше. Потому что вот это самое ваше неравнодушие мне очень нужно. Признаться, пуще всего боюсь и остерегаюсь школьарского оптимизма по той причине, что некоторые весьма ученые и многоопытные люди прикрывают им вранье! В общем, друзья, спасибо.

— Вы уезжаете? — спросила Асия.

— Еду... Кстати, в ваши родные края, Жакен Асанович,— в южную область. В Баскент.

— А вы... вы уже знаете, что это за область, надеюсь? — по обыкновению задиристо спросил Жакен.— Представьте, живет около тридцати национальностей. Бюджет под миллиард рублей. Не уступит иной союзной республике. А Баскент по промышленности пре-восходит даже Алма-Ату, и намного!

Карпов коротко кивнул головой, улыбаясь.

— Кем же вы едете, если не секрет?

— Секретарем,— ответил Карпов сдержанно.

Глава вторая

Впереди, изломав линию горизонта, высился хребет Карагату. Дорога зигзагами набирала высоту. В окно машины задувал резкий сухой ветер, шевелил русые волосы Нила Карпова, и он слегка щурил синие глаза.

Издалека горы казались пологим приземистым массивом. Вблизи они преображались на глазах. Все чаще за морщинистыми складками открывались захватывающие дух обрывы, каменная крутизна. Простецкое старческое лицо гор обретало величие.

Шумные речки сбегали к самым колесам машины, выпрыгивая из-за седых, бурых, черных скал, словно из засады. Над дорогой нависали отвесные выпуклые стены; из них сочились капли родниковой воды, похожие на росу. Внезапно на повороте в клинообразном просвете ущелья возникала мощная острогранная вершина, напоминающая древний шлем, и так же внезапно исчезала, а в другой стороне на минуту открывалась круглая, мохнатая, как малахай, и Карпов не спускал оглядываться.

Его спутники, знатоки этих мест, азартно спорили, вспоминая названия скал, ущелий и рек. Карпов слушал их и откровенно дивился тому, как много говорят эти названия. В них были и живописность гор и их история, душа и память народная.

Ему переводили звучные казахские слова — Кок-Тобе, Ак-Тобе, Коктас: Серый холм, Белый холм, Сизый камень. Так же казахи называют и многие свои селения и города. За Сизым камнем виднелись заманчивые просторы горных лугов — жайляу. Округлые увалы зеленели сочными травами, напоенными водами рек и родников. Словно сбегая с камней, пышно кудрявились рощи. По рассказам стариков, здесь некогда шумели обширные леса.

А вот название иного толка: скала Кызылоккен — Девичьи слезы. Это место, увидев однажды, вряд ли забудешь. Громадная красноватая глыба с черными потеками, похожими на косы. По преданию, на вершине скалы умерла девушка, оплакивая гибель своего возлюбленного... Поблизости от горы, которая звалась

Куцым курганом, протянулась длинная цепь причудливых камней. Они стояли гуськом и напоминали что-то очень знакомое. Это был окаменевший караван, оживавший часа, когда с него снимут заклятье... Некогда гордая вольнолюбивая красавица решилась вопреки отчей воле выйти замуж за любимого, снарядила караван. Грозное проклятие отца настигло караван на пути в аул жениха и обратило в камень. И прозвали эту каменную гряду, пожалуй, немного насмешливо: Келиншек — Молодуха.

Много попадалось мест, почитавшихся прежде святыми; они носили имена ишанов, мулл и ходжей — Праведный Бокенбай, Преподобный Кулметей, Святой рыбак. Могильники были на одно лицо и не запоминались, но по тому, как часто они мелькали, Карпов понял, какое тут было в прошлые времена засилье «духовных отцов» и святоши.

Дальше пошли перевалы — названия их настораживали. Ледовый перевал... Перевал с Дурным камнем... Так их прозвали, конечно, чабаны, водившие через Карагату овечьи отары. Недобрая, видимо, слава у этих перевалов. Худо здесь ранней зимой, поздней весной, ежели замешкаешься на кочевке, а мимо Дурного камня нужно прогнать десятки тысяч овец.

Жаркая южная осень заволокла склоны Карагату зыбким знайным маревом, а в машине вдруг все заговорили о зиме. В январе, феврале в этих краях бывают лютые затяжные бураны, непролазные снежные заносы, которых больше всего боится пастух. Глубокие снега грозят бедствием, имя которому джут.

Карпов слушал, мысленно усмехаясь. Снова и снова ему внушали, что он едет в самые трудные районы своей области — Ноянский и Узакский. Карагату, Черные горы, стягивал их словно бы каменным поясом. А тело единое, живое — кочующие отары. И вот случается в жестокую зиму, что голова его остается по одну, а ноги — по другую сторону перевалов; это равнозначно параличу.

— Понял, понял, — сказал Карпов, шутливо почесывая висок. — Но что-то уж больно часто, товарищи секретари, я слышу от вас слово «если...». Если снег, если ветер, если мороз! Сомнений у вас больше, чем воли и уверенности. Жалуетесь вы, что ли? Получается

так, что у вас сколько скота, столько и бед. Скажу прямо, я предпочел бы слышать: сколько людей, столько умения!

И в зеркальце у ветрового стекла машины Карпов увидел, как его спутники переглянулись, впрочем, без особого смущения. «А что мы за люди — смотри сам...» — говорили их взгляды.

С ним ехали Алим Еримбетов, второй секретарь обкома, и Алмасбек Жайлыбеков, третий секретарь, оба люди молодые, в войну — фронтовики, образованные, смелые и острые на язык и в общем ясные, хотя в деле Карпов их еще не видел. Третьим был пожилой грузный человек с рябоватым лицом, секретарь Узакского райкома Есадаuletов. Он казался чрезмерно покладистым, умеренно уступчивым и уклончивым; он был неясен.

В тот день Нил Карпов впервые в жизни вошел в казахскую юрту.

Спустившись с гор, мягкая грунтовая дорога плавно вилась среди невысоких холмов, то поросших густой травой, то голых и слоистых, как пирог. За машиной тянулся пыльный хвост, но ветер здесь словно приутих, и Карпов перестал щуриться. Такие места называются жельтимес — ветер не берет. Их любят овцы, а стало быть, и чабаны.

На скате холма показалась большая отара, овцы шарахнулись от машины и плотной волной покатились в сторону с барабанным гулом. Алим Еримбетов тотчас узнал их.

— Это овцы Керекена! Они у него как архары. Смотрите, скажут, как горные козлы. Думаете, это архаромеринос? Нет, обычные...

Машина остановилась. На холме появился чабан верхом на упитанной кобылице, за ней бежал голенатый стригунок. Чабан зычно и спокойно крикнул:

— Шайт! Шайт!

И овцы стали послушно собираться позади него.

Карпов уже слышал о нем — человек знаменитый. А таких овец Карпов в России не видывал. Каждая весила не меньше восьмидесяти килограммов. Шерсть — волосок к волоску.

Алим что-то сказал Керекену по-казахски, и тот с достоинством улыбнулся — он сам видел, какая птица к нему прилетела... А Карпов отметил про себя: чабан и Алим знакомы не шапочно, близко, зовут друг друга ласково: Алекé, Керекé.

Поручив отару молодому чабану, подъехавшему на ушастом ишачке, Керекен повел гостей к своему дому.

На зеленой, еще не вытоптанной лужайке у ручья стояли две юрты, одна большая, покрытая свежей белой кошмой, другая маленькая, невзрачная, четырехсторчатая и островерхая, под черной кошмой. Между юртами врыт в землю каменный очаг, в него вделан закопченный казан. Очаг огорожен невысокой циновкой из чия.

Скота возле юрт не видно. С яростным лаем выбегали желтоватый кобель, рыжая сука и два игриных косолапых желто-пегих щенка. Псы степные, поджарые, злые. Потом из юрт вышли женщины; из маленькой — старуха, видимо, мать или свекровь, и молодая, широколицая, румяная, головы у обеих покрыты теплыми платками. Из большой юрты вышла женщина лет тридцати с грудным ребенком на руках; к ее юбке жались еще два малыша. Это, конечно, жена Керекена. Она, поклонившись, отвернула перед Карповым кошму-дверь.

С волнением Карпов перешагнул порог и остановился, осматриваясь.

«Вот она, юрта... — думал он. — Та самая, степная, извечная... Сколько о тебе слышал, читал, спорил! Ох, и темна ты, старушка».

В юрте было сумрачно. Тусклый свет исходил из шанрака — зияющей круглой дыры в потолке, сквозь которую виднелось небо. На чем же здесь сидят? На чем едят? На чем спят? Ни стульев, ни стола, ни постели. Все на полу, а пол, по сути, земляной, хоть и устлан кошмами.

Со света Карпов ничего не различал в этом древнем жилье, и хозяин, почтительно придерживая гостя за локоть, провел его к тору — почетному месту против двери и усадил на стеганые одеяла. Усадил... Легко сказать! Карпов встал на колени, прислонился спиной к решетчатой стенке юрты, не зная, куда же девать ноги в запыленных сапогах. Приглядевшись, он уви-

дел, что его спутники удобно, привычно сидят на одеялах. Поджав под себя одну ногу, легко уселась жена Керекена с ребенком на руках. Рядом с ней следом за гостями сел хозяин, сняв шапку и оставшись в черной бархатной тюбетейке. У него было приятное смуглое лицо с небольшой острой бородкой. Он вежливо улыбался. И Карпов весело покряхтел, как бы извиняясь в неловкости.

Сбоку от тора вдоль стен стояли один на другом сундуки, обитые крест-накрест полосками белой жести. На сундуках лежали свернутые кошмы и узорчатые ковры, выше — стеганые одеяла, еще выше — подушки, большие и маленькие. Вот и все имущество и все убранство. Ни книг, ни радио, ни зеркальца...

Посредине юрты Карпов увидел костерок из мелко поколотых чурок. Над слабыми язычками огня вилась светлая струйка дыма, утекая в шанрак, уже заметно закопченный. В юрте было прохладно, и тем более остро был в нос запах дыма, войлока, овчины. «Каково же здесь зимой, в мороз и ветер, когда костер нужен много жарче? — думал Карпов. — Или в обложные осенние дожди, когда шанрак приходится закрывать? Как тут живут дети — вечно в теплой одежке? И как в юрте моются, как стирают белье?»

Карпов достал папиросы и закурил, сильно затягиваясь, скрывая свое смущение.

Перед ним поставили круглый на низеньких ножках стол, покрытый дастарханом — чистой синей скатертью с белой бахромой. На столе возникло блюдо с внушительной горкой румяных баурсаков — шариков из теста, обжаренных в масле; среди них белели кусочки сахара. В трех тарелках подали сливочное масло. Внесли кипящий самовар, он пыхтел паром и посвистывал. В юрте стало вроде бы теплей, уютней и краше...

Хозяин сам налил Карпову в пиалу чаю с молоком; цветом чай напоминал кофе и был крепок, душист и вкусен. Карпов пил его охотно, и хозяин был доволен, истово поглаживая бородку. Но речи за дастарханом почетный гость повел трудные.

Пока говорили о делах, Керекен чувствовал себя в седле. Места здесь изнурительно сухие, но он живет у ручья. Места здесь жестоко ветреные, но он живет в желтизмесе. И за пятнадцать лет его отара ни разу

не пострадала от гололедицы и бескормицы, то бишь от джути. К зиме овцы у Керекена самые тучные в округе. Отчего так? Оттого, что пасет он их, не ленясь, восемнадцать часов в сутки, поит дважды в день. Это одно. А другое то, что у него на примете и в памяти каждый пригорок, каждая ложбинка, где не бывает сугробов, где лучше укрыться, где и свирепый буран не страшен. К весне овца у Керекена еще упитанна, а сытую овцу никакая хворь не берет. Вот почему его отара не знает, что такое падеж.

Однако, выслушав хозяина, и как будто одобрительно, гость сперва между прочим, потом все настойчивей и пристрастней стал расспрашивать о разных житейских мелочах, которыми такому большому человеку вроде бы и интересоваться не к лицу. И горячие синие глаза гостя, похожие на огоньки летнего нежаркого костра, теперь блестели, как сталь.

Хозяин застеснялся, соображая, к чему же он клонит. Голос добрый, приветливый, сердечный, а в каждом слове упрек. И про чай человек забыл...

Алим, верный друг, попытался было выручить Керекена. В юрту внесли большое желтое блюдо с каурдаком — мелко нарубленным мясом, нежным и ароматным, пышущим жаром. Против каждого гостя в мясо были воткнуты ложки. Алим громко крякнул и засмеялся.

— Горяч каурдак! И густоват, густоват... У него должен быть холодный погонщик! Холодный и жидкий...

Керекен обрадовался, с благодарностью глянул на Алима, а на Карпова с почтительной надеждой.

— Слава богу, и это есть,— сказал он.— Погонщик послушный, его только кликнуть... если велите...— И он вытащил из-под столика неизвестно как туда попавшую бутылку коньяку; коньяк армянский, лучший — пять звездочек!

Почетный гость выпил рюмку — ею служила маленькая синяя пиалушка, но и это его не убедило и не утешило. Керекен пожимал плечами, отвечал однозначно, и гость принялся допытываться все о том же у его жены...

Коли большой человек спрашивает, понятно, нехорошо скрывать, хотя бы речь шла о всяких несураз-

ностях. И хозяйка отвечала, что больница отсюда далеко, на совхозной усадьбе, там же и баня. В стужу с детьми туда не поедешь. Баню они любят, как не любить! Но за зиму, считай за полгода, ей с мужем удается побывать в бане раза два. Баня замечательная, горячей воды — река.

Лицо Керекена посерело от стыда за жену. Он считал, что ее откровенность оскорбит дорогого, редкостного гостя. Так все ладно шло, такое угощение, и вдруг эта невоспитанность!

— Ой, жена, ой, хозяйка! — с неприязнью зашептал он. — О чём говоришь? Как язык поворачивается? Попшевели мозгами...

Карпов пристально посмотрел на него, потом на Алима, тоже бледного, с застывшей на лице неловкой и просительной улыбкой, и опустил глаза. Когда же гость поднял их, они мягко и добродушно синели.

— Хорошо живете, — сказал он, словно бы сызнова осматриваясь, и Алим почувствовал, что Нил Петрович не кривит душой. — Хорошо, Керекé... В этой юрте понимаешь, что значит гордиться за человека. Ваш дом — самый теплый, самый светлый!

Алим сжал кулак и молча с силой ударил себя по колену. Карпов, улыбаясь, зачерпнул ложкой каурдак.

— А что же вы, друзья мои, — неожиданно заметил он своим спутникам, — что же вы внушали мне по дороге? Вон какой скот у Керекена! Или это исключение.

— Видите ли, — ответил Есдаулетов, озабоченно морщась, — вообще-то наш край самый теплый в Казахстане. Все-таки южная область. Это не Сибирь и даже не Джамбул. Скажи в Алма-Ате, что на юге падеж скота, — засмеют, еще выругают! Под нашим небом иной раз молишь снегопада, потому что это вода...

«Ну и что же?» — подумал Карпов с невольным раздражением.

— Видите ли, — проговорил Есдаулетов, словно нащупывая, что сказать, но Алим перебил его с горячностью и откровенной обидой:

— Неужели и вы, Нил Петрович, будете нас упрекать в том, что мы малодушничаем, подстраховываемся и даже накликаем сами на себя джут?!

— Ого... — сказал Карпов. — Часто вы это слышите?

— В позапрошлом году в начале марта я послал телеграмму, что у нас падеж. И получил строгое предупреждение от Министерства совхозов республики за паникерство.

Карпов задумался.

«Джут,— мысленно записал он себе на память.— Извечная угроза... Но что же, ее боятся или стесняются, как знаменитый чабан Керекен стеснялся своих будничных привычных житейских неудобств?»

Другое наблюдение казалось Карпову более ясным, но и более сложным: юрта чабана. Трудно в ней живется, а в степи без нее не обойтись.

Поехали на центральную усадьбу совхоза «Конекент», самого крупного в Узакском районе.

И в который уже раз Нил Карпов подивился тому, как многолика казахстанская земля. Эта великая степь не утомляла, не прискучивала. Здешние края и не походили на степь, они напоминали скорей Урал близ реки Чусовой, которую Карпов почитал самой красивой из горных рек. После угрюмых каменистых склонов Карагату земля вокруг веселила глаз. В широких ущельях и долинах — тенистые леса, гущина листвы, чуть тронутая огнем осени, ослепительная ширь лугов. Кишлаки сплошь в садах. Яблоки, яблоки...

Но пески, голые пустоши были рядом, и спутники Карпова говорили о воде. Есдаулетов вдруг оживился, словно зараженный темпераментом Алима, и в двух словах сказал многое. В районе живет двадцать тысяч человек. Скота — триста тысяч голов. По семилетнему плану задано удвоить поголовье. А можно бы вырастить и миллион овец — несравненных каракульских! Пастбищ в достатке. И чабанов хватит. За чем же дело стало? Мало воды. В районе есть три порядочных колодца. А нужно двадцать. И не прежних, захудальных, с песчаной полынной горчинкой, которые очередной караван выпивал до дна, а современных, артезианских, неиссякаемых, с вкусной водой, от которой не отвернется ни верблюд, ни овца.

Один-единственный колодец, выкопанный близ Жоан-Тобе, позволил вырастить во вчерашней пустыне, примечательной лишь ящерицами, арбузы! А ведь в

старину в бескрайней Мырзабаевской степи, которая ныне облысела, наши отцы и деды сеяли. Если с умом, с толком насыпать дамбы, плотины, наполнить рывину Алтыбай водой семнадцати родников, а их здесь семнадцать, степь воскреснет. На тысячах гектаров возникнут посевые. Это целина благодатная, только руки приложи. Вот что такое Узакский район.

Карпов с интересом поглядывал на Есдаулетова. Совсем другой человек — дальний, знающий! Как же понять его недавнюю вялость и убогое старание сказать непременно впад в начальству?

— Стало быть, и вправду вы жаждете зимы и снегопада, потому что это вода? — напомнил Карпов, стремясь связать мысли Есдаулетова воедино.

Но в ответ Есдаулетов опять угодливо, льстиво рассмеялся.

«Указаний свыше — вот чего ты жаждешь», — с досадой подумал Карпов.

Приехали в большой кишлак, вошли в высокий одноэтажный дом, крытый шатром. Это был дом директора совхоза Абды Есенова.

Абды оказался молодым, сероглазым и русоволосым. Он прекрасно говорил по-русски, и с первых слов, непринужденных и неказенных, с первого рукопожатия, простого и дружески крепкого, без непременной восточной почтительности, которая требовала принять руку старшего обеими руками, понравился Карпову. Видный парень, сверстник и ровня Алиму Еримбетову. Уроженец местный, учился в Ташкенте. Зоотехник по школе и по призванию. Дело свое любит горячо, искренне, к нему прирос душой. Это Карпов почувствовал, услышав его разговор по телефону, а говорил Абды неторопливо, настойчиво, не смущаясь тем, что его дожидается первый секретарь обкома, а Есдаулетов корчится, точно на иголках.

Хороша была и жена у Абды, лет восемнадцати-девятнадцати, не старше, тонкая, высокая, смуглолицая, с девичьей косой ниже пояса и глазами верблюжонка, как сказал бы казах. Прямой, чуть вздернутый нос делал ее похожей скорее на украинку. Не заметно было, чтобы она стеснялась гостей, но, видимо, все же старалась не обращать на себя особого внимания. Говорила вполголоса, точно у постели спящего или боль-

ного, отвечала Карпову скучно, опустив глаза, неясно улыбаясь и как бы пресекая дальнейший разговор.

Карпов насторожился. Абды смотрел на свою жену со странным беспокойством, которого, пожалуй, и не скрывал. Казалось, он хотел, очень хотел, чтобы она говорила, и... опасался того, что она скажет.

— Отстаете вы от мужа,— сказал Карпов.— Почему не учитесь? Неужели не хотите?

— Здесь вуза нет... — ответила она.— А в дальние города, в область, не могла поехать.

— Сколько девушек окончили школу вместе с вами?

— Семнадцать.

— Вот как! А кто-нибудь из них поехал в вуз?

— Да... поехали...

— А вы? Что ж отстали?

— Не смогла поехать,— тихо повторила она и, взяв посуду, извинилась улыбкой, притворяясь, что ей нужно уйти.

— Не хватило у меня духу с ней расстаться,— сказал Абды, смеясь, но и слова и смех его показались Карпову тоже притворными.

С этой минуты туманное и неприятное ощущение, что ему хотят и не могут рассказать нечто важное, может быть, наболевшее, не покидало Карпова. Исподтишка он присматривался к рыбому лицу Есдаулетова. Тот говорил без умолку, не давая другим открыть рта, шутил, и даже остренъко, на тот счет, что дом Абды еще теплей и светлей, чем юрта Керекена... Карпов понял: вот кто мешает поговорить откровенно!

Синие его глаза вновь похолодели. Есдаулетов тотчас сбавил тон и сам стал расспрашивать Абды. Интересовало Есдаулетова, как совхоз готовится к зиме. Но и ему и Карпову Абды отвечал словно бы неохотно и сбивчиво.

Вдруг он заговорил о своей жене и каких-то братьях Жанаевых, работниках совхоза. Этим братьям, видите ли, пришлась не по вкусу его женитьба, и Абды никак не мог с ними сработать... «Что такое?» — подумал Карпов недоумменно. Есдаулетов перебил Абды и резонно заметил, что он директор, Жанаевы его подчиненные, а склоку надо душить в зародыше. Абды выразительно покосился на Карпова и умолк.

Тогда Карпов отметил себе: братья Жанаевы.

Минутное застольное затруднение отвлекло Карпова. Как водится, его угостили и в этом доме. Казахское радущие оборачивалось делом обременительным: сколько домов — столько и угощений. К тому же в доме Абды Карпову был приготовлен высший деликатес — вареная баранья голова... И в первый момент Карпов растерялся.

Ему доводилось слышать, что по давнему обычая гостеприимства баранью голову подают особо почетному гостю. Тот делит ее ножом и угождает гостей ниже рангом. При этом открывается неповторимая возможность для нравоучительного остроумия. Даешь кому-либо ухо и внушаешь: слушай и внимай аллаху и районному инспектору по животноводству, дабы не покарали они тебя на партактиве. Даешь глаз и наставляешь в полное свое удовольствие: смотри зорче за женой, ибо она моложе тебя на год и столько-то месяцев, или за дочерью, поскольку у твоего соседа холостой сын. Перечить старшему гостю у казахов не принято. Лишь ровесник вправе отшутиться.

Карпов был далек от ханжества, и хотелось бы не ударить лицом в грязь. Есдаулетову, к примеру, следовало бы дать язык со словами: говори правду! А еще лучше ноздрю: вот тебе второй нос — держать его пс ветру... Любопытно, куда бы он дел свои глаза? Но Карпов со стесненной улыбкой пододвинул ему все блюдо с бараньей головой.

Есдаулетов затрясся, замахал руками, будто совершилось некое кощунство.

— Что вы, Нил Петрович! Голову вам подали... Это почет, честь. Мне не полагается. Вы сами голова, откушайте...

Карпов прищурился, размышляя, и нарочно предложил голову Алиму, потом Алмасбеку Жайлыхбекову. Те так же шумно отказались.

— Это народный обычай, национальная традиция, — сказал Алмасбек. — Мы не смеем. — Но в том, как они оба шумели, Карпов уловил смущение и неловкость.

Карпов засмеялся.

— Слушайте, друзья, — сказал он. — Ну, допускаю, Алим... это хоть по его епархии, поскольку он ведает животноводством! Как говорится, товар лицом! А вы,

Алмасбек, секретарь по пропаганде... что вы пропагандируете? Вы же сами в затруднении, что с этой... головой делать, куда с ней деваться за столом! Так или нет?

— Вообще-то нужен старик... аксакал... — проговорил Алмасбек со смешливым вздохом.

— Ну, я не гожусь в аксакалы, — сказал Карпов. — Извините меня, Абды, я тоже еще молод! А молодым, говорят, присуще одно коварное свойство — отличать традиции от пережитков. Что же, Алмасбек, и калым и умыкание — тоже традиция, народный обычай? А может, это анахронизм, феодальный мусор, по сей день засоряющий нам глаза?

Алим и Алмасбек бегло переглянулись, и это обмануло Есдаулетова.

— Не совсем понятно, — проговорил он усиленно морща лоб. — Зачем обижать стариков? Нужно ли это? Наша молодежь к этому не приучена.

— И я не приучен, — возразил Карпов.

— А религия? — спросил Есдаулетов, прищурив один глаз и подняв указательный палец. — Она постарше феодализма, а мы ее терпим...

Карпов с изумлением смотрел в его прищуренный глаз.

— Что-то я не припомню, — сказал он сухо, — чтобы меня в виде чести приглашали в церковь или мечеть. Боюсь, что я не принял бы такой чести... А вы?

Есдаулетов громко, протяжно расхохотался.

Другие не смеялись. Алмасбек, поворачивая перед собой блюдо с бараньей головой, сказал:

— Откровенно говоря, Абды, это же чистейший субпродукт, незаменимый для холодца. Высший сорт! Ножки даже еще лучше... Вот уж от холодца здесь никто не отказался бы, хотя в нем мало чести.

Карпов молча развел руками, показывая, что лучше не скажешь.

— К вашему сведению, Нил Петрович, — продолжал Алмасбек, — интересный факт: не далее как прошлой зимой в кабинете нашего председателя облисполкома Ахана Султанова был банкет для гостей из Индии. И что же вы думаете? Подали им баранью голову! Индусы, как известно, вообще мяса не едят. Им баранья голова, наверно, просто отвратительна, если не

оскорбительна. Но точно так же их принимали в Алма-Ате. Как нарочно! На моих глазах был случай в нашем Баскенте: ученым гостям из Швеции предлагали это блюдо. Я сам видел, как вышло нескладно, неудобно. Было бы в юрте у чабанов — все понятно. Но ведь в областном центре, на официальном приеме. Мы сами тогда возмущались. И сами же это делали! Действительно, что ли, засорены глаза?

— Зачем преувеличивать? Кому это нужно? — сказал Есдаулетов по-прежнему нудно и упрямо.

И почему-то именно его слова застряли в памяти Карпова, когда поднялись из-за стола и поехали дальше. Абды Есенов не пытался поговорить с ним с глазу на глаз. Впрочем, может быть, Есенов хотел справиться с братьями Жанаевыми без опеки обкома? Или все же опасается выносить сор из избы?

В машине Карпов был молчалив и рассеян. Ощущение неопределенности и незавершенности не покидало его. Он думал о том, что не поспевает, не поспевает в полную силу запрячься в свое дело до зимы. Чем больше он ездил по трудным районам, чем ближе их видел, тем беспокойней становилось на душе. В Центральном Комитете, помнится, пошутивали: вступать бы тебе в секретарство с весны — теплей, веселей... Теперь Карпов понимал, что шутили с ним не так уж безобидно. Нет уверенности в зиме! Нужны крупные, масштабные решения и рывок, может быть, не столько силами области, сколько силами республики. А уж поздняя осень. Не поспеть! Мудрено ли, если один выюжный зимний месяц растранижирует бесподобный, удивительный труд чабанов за целый год?

Чьи еще рабочие будни во всей стране можно сравнить с рабочими буднями чабана в суровой зимней степи? Разве только солдатские...

2

Смеркалось, когда Карпов и его спутники приехали в Баба-Ату.

Первое, что здесь бросалось в глаза, — развалины старинной мечети. Она была из обожженного кирпича и некогда гордо высилась над всей округой. По уче-

левшим стенам можно было судить, что строили ее недюжинные мастера.

Неподалеку от мечети археологи из Алма-Аты разрыли древний курган. Раскопки велись второй год. В давние времена на месте кургана стоял ханский дворец. Дворец был уединенный, возведен в узкой теснине между утесами над быстрым ручьем с обильной водой. Другим строениям здесь недоставало места.

Трижды строился этот дворец и трижды разрушался. Воскресал он на руинах, на старых фундаментах, но в последний раз его снес, видимо, лютый враг и навек похоронил. Больше здесь хан не жил.

Карпов бегло осмотрел раскопки кургана и заброшенную мечеть, сказал нетерпеливо:

— Ну, что еще покажете?

Его спутники, рассуждавшие о том, сколько было погублено жизнью, сломано судеб и пролито крови в ханском дворце за три срока его немирного существования, примолкли. Карпов понял по глазам товарищей, что они стараются угадать, что же его интересует.

Он остановился у запыленных стен мечети под черным утесом.

— Это здесь жила женщина, по имени Алуа?

Товарищи переглянулись: откуда он знает? Когда успел узнать? А Алим Еримбетов заметил себе: «Берет факты не за хвост, за холку».

Про Алуа в этих местах не забыли. Алмасбек Жайлыбеков вызвался рассказать Нилу Петровичу ее скорбную и трагическую историю. И вот что он рассказал.

С тех пор минуло полвека, а может, и больше. Алуа была женой торговца Каная, хозяина богатого аула. Низкорослый, с узловатыми руками и снежно-белой бородкой, Канай рано одряхлел, был немощен, но зол и спесив, болезненно ревнив и немилосердно жесток.

В страшный год повальный тиф унес сыновей и старую жену Каная. Было ему под семьдесят, когда он ввел в свой дом девятнадцатилетнюю высокую, стройную, черноглазую Алуа, полную юных сил. Она стала его женой со стыдом и горем. Слепая судьба, тяжкая жизнь загнали Алуа под этот постылый кров.

Вышла девушка из малочисленного аула рода Ар-гын, перекочевавшего в Моюн-Кумы из Аркы, разоренного в годину джута. За одну лютую зиму аул потерял весь свой скот, обнищал и уже не имел силы откочевать в родной край. Рассыпался обездоленный аул, понесло людей, как утиный пух из гнезда беркута, в разные стороны. К тому же семья Алуа осиротела. Отец, спасая в метель скот, сильно застудил грудь и умер. Девушка осталась старшей в семье, единственной надеждой несчастной матери, двух сестер и малолетнего брата. Пешком, побираясь, кое-как добралась вдова с голодными детьми до Конырата, что вблизи от Жоан-Тобе. И здесь-то их приметил торговец чаем, материей и прочим ходким товаром Канай и без особых хлопот, без больших затрат заполучил себе Алуа, а остальных прогнал.

В первый год замужества Алуа родила Канаю сына, крепенького, красивого, как она сама. Старик назвал его Кенжебеком. Но шли годы, рос мальчик, а жизнь Алуа становилась все горше и мучительней. Канай изводил жену ревностью, подлыми подозрениями, непрестанной бранью, частыми побоями. Мальчик был так хорош, что старик не верил, что это его сын, и чернил, попрекал мать тем, что нажила ребенка не от мужа, а от случайного прохожего. Алуа терзалась, плакала безутешно. Бесчестные наветы были ей больней и обидней, чем удары камчой. Канай кипел старческой злостью. Чтоб покрепче уязвить молодую, он призывал к себе маленького Кенжебека и безжалостно, бесстыдно срамил его: «Ты явился на свет нечистым путем... ты сын греха, сын измены...» Мальчик подурнел, перестал смеяться, молчал целыми днями, испуганно озирался.

Алуа хозяйничала в доме старика, считалась женой богатого мужа, но жизнь ее была беспросветно темна, и не было в ее душе ничего, кроме унижения. Когда старик подбирался к ее постели и протягивал к ней холодные руки, Алуа дрожала от страха, отвращения и не могла удержать слез. А старик лютел, дурел пуще прежнего и все чаще поднимал на жену камчу. В ее слезах, в ее муке он видел примету неверности.

Тщетно искала Алуа утешения в сыне. Мальчик, едва начав говорить, будто онемел навеки. Тоска и

боль матери словно передались ему с ее молоком. Алуа некому было пожаловаться, и она делилась своим горем с ребенком. Держа его на руках, баюкая, она не пела ему песен, а причитала, как плакальщица.

— Только ты моя маленькая забава, радость моя... да и та обокраденная... Ты моя жизнь и мои цепи. Без тебя в разлуке не проживу. Ты меня привязал к старику, точно каторжницу, милый мой, родной мой...

Так прожила Алуа семь лет. И привязалась к ней еще одна напасть.

Стал ходить за неприкаянной красавицей один жигит лет тридцати, близкий родич Каная, ибо у казахов родство в три-четыре колена — недальне... Звали жигита рябым Конкаем. Был он неказист собой, а нравом козел. Не только красавица, а и дурнушка от такого отвернулась бы. На темном лице его торчал вздернутый нос, в морщинах прятались маленькие серенькие свиные глазки. И весь он точно из корявого выветренного камня, груб и шершав. Лишь белые собачьи его зубы, вечно оскаленные, поблескивали под короткими густыми усами.

Жена у Конкая была робкая, вялая, придавленная своим бесплодием. И при удобном случае он привязывался к молодым бабенкам, которые попадались под руку. Пользуясь родством с Канаевым, Конкай захаживал в дом старика и засиживался спозаранку допоздна. Молоденькая, но гордая Алуа пришла по вкусу рябому. Стал он ей поперек дороги.

Конкай был ей противен, как и муж. Она не слушала льстивых слов рябого. Но он не отступался. Многие месяцы он подстерегал ее одну, уговаривал, улещал, Алуа гнала его, он не уходил. Пыталась пристыдить, да какой стыд у козла?

Однажды она сильно рассердилась и припугнула его:

— Вот какой ты родич! Смотри, кончится мое терпение — скажу мужу.

Рябой Конкай напугался. Родич Канаю он был хоть и близкий, да не больно важный, бедный. Канай славился скопостью, как и все торгаши, однако и в его доме удавалось раздобыть то харчишек, то старую одежонку, а то на время лошадь или быка в горячую

страдную пору, при удаче — даже малую толику день жат. Конкаю ничем не приходилось брезговать, а жадностью и корыстолюбием он походил на своего благодетеля.

Вот почему оробел рябой. И возвел на Алуа небылицу. В аул приехал волостной управитель Сырбай с двумя биями и посыльным. Дом торговца в ауле самый богатый, с хозяином Сырбай был накоротке, и хотя Канай оказался в отъезде, волостной заночевал в его доме. Только слепец не разглядел бы красоты Алуа. Кровь в жилах Сырбая текла кабанья, но и он как водится, любезничал с хозяйкой. Конкай это прометил и, едва вернулся старик, уединился с ним и припав к его уху, стал живописать, как Алуа спуталась с волостным Сырбаем, зазвала его ночевать, когда муж был в седле.

Алуа не догадывалась об этом наговоре и не понимала, почему старик так свиреп с ней, так безобразно ругается, так безжалостно дерется. После разлуки она обыкновенномягчел на одну ночь.

Кругом не было ни души, ни одной человеческой души, которая заступилась бы за Алуа или посочувствовала бы ей, смешала бы свою слезу с ее слезой. Все женщины аула зависели от торговца, от его мышны и смотрели на Алуа его глазами, говорили с ней его языком. Говорили они, что Алуа молода, хороша собой и горда, ни с кем не делится своими женскими тайнами, а это, ясное дело, неспроста, не зря. Муж старый, муж в разъездах по базарам да ярмаркам, ё молодая дома одна, без присмотра, без свекрухи, держать ее в узде некому. Есть у нее и теплый кров и мяса вдоволь. Думать ей не о чем. Неужели же она такая молодая да сытая, будет сидеть так себе, ждать старика? Безобидный он человек, богобоязненный, ё она бесстыжая, греховодница.

Плели, мололи языками аульные болтуны, угождая Канаю, а он синел от злобы, прислушиваясь к ним. Теперь он подходил к Алуа только с камчой и с пеной на сморщеных губах.

А рябой Конкай вновь осмелел. Опять стал домогаться своего, не давая Алуа проходу. Она не раз говоривала с ним, не смотрела на него. Но он не замечал ее гнева, ее душевной боли. Старик далеко, ста-

рик потерял разум от злости, а женщина одна на целом свете, женщина забита — стало быть, поспевай. Деваться ей некуда. И рябой, скаля белые собачьи клыки, выговаривал красивые слова:

— Милая... Солнце мое... Сердце мое... Страсть моя...

Серые его скулы бледнели, дышал он, как запаленная лошадь, а щелки глаз заволакивали слезы. Слезой не то что ее, самого Каная удавалось разжалобить!

На момент рябой и впрямь расчувствовался. Взбрела ему в голову шальная мысль.

— Оба мы несчастные,— сказал он.— И твоя и моя жизнь как полынь. А тебе и невдомек, почему я к тебе липну... Молил я аллаха, молил аруаха*, чтобы гордая Алуа вникла, какая такая мечта гложет мое сердце. Никто нас не слышит, ты послушай... Я не хитрю, не обманываю — для тебя ото всего отрекусь, все брошу. Ты вдосталь наплакалась, и я бедолага. Кабы ты ко мне склонилась, слились бы наши желания — не попусту, не для минуты одной, для честной жизни. Возьму увезу тебя! Убежим далеко, заживем вдвоем, сами себе хозяева. Повезу тебя за Бетпак-Далу, к твоему роду Аргын, откуда тебя мать-отец вывезли. Вот куда тебя доставлю! Будь я проклят, если того не сделаю... Только держись за мою руку.

Алуа впервые повернула к Конкаю голову, впервые подняла на рябого глаза. Какие это были глаза! Какая в них светилась душа! Обмануть такую женщину — нет подлеца дела, нет темней греха. Казалось, разверзлись перед ней земля и скажи ей голос: вот дорога в отчий край, к родным людям, она ступила бы в пропасть без страха.

— Обещаешь? — спросила Алуа.— Клянешься честью, совестью?

Рябой Конкай поклялся духом своего покойного отца. А что такое честь и совесть, он и не ведал толком. Чести и совести не там Алуа искала.

Густели сумерки. Алуа сидела, бросив на колени шитье, опустив руки, безмолвная, бесчувственная, безразличная. Конкай подошел к ней неслышно, еще не веря в свою удачу, схватил и повалил навзничь. Она не противилась ему.

¹ Аруах — дух предка.

Достиг рябой, чего хотел. После заката он приходил, перед рассветом уходил.

Так было несколько ночей, пока Канай ездил торговаться. И возгордился рябой — ночью ему хан мог бы позавидовать.

Алуа жила, как в дурном сне, точно скованная недугом. Она не могла есть, не могла спать, не разговаривала даже с сыном. Сердце ее болело. Рябой Конкай был ей по-прежнему постыл. И тело и душа к нему мертвы. Но теперь она сама себе стала противна. Много раз она хотела без пощады наказать, убить себя. Жалко было маленького, несмышленного, пугливого сына.

Как-то под утро, когда рябой, потягиваясь, кряхтя, поднимался с постели, Алуа сказала ему:

— Скоро муж вернется. Помнишь свое обещание? Когда уйдем отсюда?

Конкай дернулся, словно от удара хлыста, оскалился по-собачьи, трусливо и язвительно захихикал. Нашупав в темноте на стенке юрты свой чапан, он накинул его на плечи, пригнулся, шепча:

— Э-э, куда торопиться? К чему нам спешить?

Алуа ахнула, упала на постель и заплакала на взрыд. Конкай побежал к двери, бормоча на ходу:

— Заря занимается... светает... Смотри, услышат! Попадемся на глаза... Что ж теперь поделаешь? Мы себе не вольны,— и выскочил из юрты.

Приехав с базара, старик прожил дома неделю, не выпуская из руки камчи, и опять уехал. К ночи в юрту Алуа прокрался рябой Конкай. Он стал винуть Алуа, как нужно им быть настороже, держать ухо востро. Люди злы, проведают, сболтнут, и кончится пойкой, тогда не позабавишься.

Алуа больше не плакала. Губы ее дрожали от гнева, но в глазах еще светилась искорка надежды.

— А как же твое обещание? Ты клялся прахом своего отца! Сколько мне ждать? Скажи хоть раз правду, по чести, по совести... Извелась ожидаючи...

— Э, будь ты неладна! — выругался Конкай.— Ожидаючи... Клялся! И что мелешь? — Он ухмыльнулся, скаля белые клыки.— Что же, тебе лучше со стариком, милей старик, а? Я вон тебя не бью, не кляну...

— Но ты же обещал... перед богом и аруахом!
Я тебе все отдала...

Рябой расхохотался ей в лицо.

— Неужто ты шуток не понимаешь? Уж и пошутить нельзя! Так, милая моя, от скуки иссохнешь.

— Ты! Шутил! Со мной! — вскрикнула Алуа.

— А что ж такого? На это запрета нет. Невеликий грех! Ну подумай сама, куда я кинусь бежать от своих близких, из собственного дома, с родной земли? Нашла дурачка! Смех, ей-богу...

Алуа подошла к нему и с силой ударила несколько раз по рябым скулам, так, что он перестал скалиться и закрылся рукавом чапана.

— Проклятый! Уходи и не показывайся больше мне на глаза... Бог тебя покарает. Пусть он тебя ударит, как я... Убирайся отсюда! — и она вытолкала его в шею вон из юрты.

А через несколько дней по аулу пополз слухов, что Алуа свела Конкай с пути истинного. Опутала красавица рябого. Слушок этот пустил сам Конкай.

Жил в соседнем ауле юноша-жигит, по имени Жанузак. Услышал он дурную молву про Алуа, и подлое худое слово ранило его в самое сердце. Было ему не полных семнадцать лет, он никогда еще не обнимал женщины. И может быть, одному ему было больно за Алуа.

С малолетства он играл на домбре, хорошо пел, а лет с четырнадцати стал сам сочинять песни. Со временем в народе его нарекли юным акыном, звали на свадьбы и праздники, принимали с почетом. Приходилось ему участвовать и в айтисах. Правда, на больших сборищах он еще не выступал, но нередко соревновался со своими сверстниками, девушками и юношами, всегда с честью. Знал он и старые песни, дастаны, понимал их красоту, их мудрый смысл, играл и пел их с большим чувством и умением.

Хрупкого сложения, со светлым, юношески мягким лицом, он походил иногда на тихую девушку. И была у него сердечная тайна — Алуа. Она жила в его песнях. Он мечтал о ней с жаром и чистотой юности. Часто наедине с самим собой он шептал ей горячие признания, и лишь домбра слышала его шепот и вторила ему гудением струн.

Алуа казалась ему недосягаемой, как луна на небе. Иной он не представлял себе ее. Он хотел, чтобы она была такой. И страсть к ней была нежной и возвышенной. Он один знал, как Алуа прекрасна, благородна, горда. Его коробили бабы сплетни про нее. Он не верил никаким наветам. Он приписывал их низкой зависти. И какие чудесные песни он складывал и поворял высокому небу, степному ветру и черным утесам Баба-Аты... Какие сладостные и восторженные песни!

И вот мстительная болтовня Конкай настигла певца. Приятель Жанузака слышал, как хвастался рябой в своем ауле и перед мужчинами и перед женщинами, что снял луну с неба и положил в карман до первой надобности.

— Добился красавицы... — рассказывал приятель так, будто сам хотел бы того же. — Сколько лет упиралась, гнала от себя. А все-таки скрутил ее рябой. Что ни говори, хоть раз в жизни насладился...

Жанузак ушел в свою юрту, скрылся от глаз людских, положил себе на колени домбру и заплакал надней.

На следующий день необоримая сила привела его в дом старого Каная. Хозяина он дома не застал, и дела к нему у юноши не было. Краснея от смущения и застенчивости, он поздоровался с Алуа и не мог произнести больше ни слова. Она угостила его кумысом, он с поклоном принял из ее рук пиалу, респлескал кумыс и не смог его пить. Душа его была полна огня, а язык словно присох к зубам.

Если бы он смел, он сказал бы ей:

— Не позорь себя! Не марай своей женской чести. Разве Конкай тебе ровня? Разве ты пара рябому стервятнику? Ты самая лучшая из женщин, из всех людей. Тебе не по земле ходить, а летать, подобно горной птице. Ты прекрасна, как сияние неба. Тебя бог создал для счастья, для красоты. Слушай, как я пою про тебя...

Так хотел бы сказать ей Жанузак. Он хотел бы спеть ей еще никем не слышанное, заветное, но немел, когда ее видел. Он презирал и бранил себя за робость, но ничего не мог с собой поделать. Он боялся оскорбить ее смелым словом, стеснялся своей неловкости, своего голоса.

Алуа чувствовала его тайную, горячую приязнь, но сейчас не поверила бы даже ему. Кроме того, юный акын был странно молчалив... Он так и ушел, не вымолвив ни слова, кроме «здравствуй-прощай», и Алуа так и не узнала, какой верный друг у нее есть. Она так и не узнала, что есть на свете душа, которая ее понимает и которой она могла бы довериться. Так она об этом и не узнала.

Приплелся из гостей Канай, угрюмый, сморщеный, желтый, будто вся кровь обратилась в нем в желчь, и тотчас закричал:

— Одного провожаешь, другого принимаешь потаскуха! Тварь беспутная.... — схватил камчу, хлестнул себя по сапогу. — Поди сюда!

До позднего вечера старик бил Алуа и поносил грязной бранью. Она молчала. Она даже не слышала, не замечала, как плачет и цепляется за ее юбку маленький Кенжебек.

Мальчик льнулся к ней, заступался за нее. И лицо, и руки, и шея его были мокры от слез. И старик на время умолкал, опасаясь, как бы соседи не услышали плача ребенка. Ждал, пока улягутся.

Поужинали. Аул угомонился и уснул, в соседних юртах погасли огни, закрылись двери и тундуки *, ходьба прекратилась, говор утих, лишь собаки брехали.

Старик взял к себе в постель мальчика, уложил его поближе к стенке. Усталый, измученный, мальчик уснул. Подошла Алуа, понурив голову. Старик яростно пнул ее в бок голой желтой пяткой. Она тихо отошла.

— Поганая.. — шипел он.

Алуа опустилась на колени у очага. Кимешек, стариный головной убор из коленкора, сполз ей на шею, густые волосы рассыпались. Она плакала, задыхаясь, давясь слезами, кусая губы, чтобы старик не услышал ее рыданий.

В середине ночи, когда в ауле не слышно было и лая собак, старик сполз с постели, подскочил к очагу.

— Пошла вон из моего дома! — Старик за волосы потащил Алуа к двери, вон из юрты.

У порога он схватил и поволок за собой что-то тяжелое.

¹ Тундук — дымовое отверстие у юрты.

— Аул спал, кругом было мертвенно тихо. В безоблачном небе сияла ущербная луна. Земля, купола юрт и борода старика были выбелены пепельным светом. Глубокие морщины изрезали лицо Каная, косматые брови торчали, как колючки.

— Убью! — хрюпал он. В горле его клокотало.— Кун¹ за тебя уплачена сполна... Убью нечистую тварь! И конец моему позору...

Ощерив рот, старик поднял над головой Алуху новый остро наточенный кетмень который днем самолично насадил на рукоятку.

Алуха инстинктивно подалась вперед и прижалась к старику. Тот, брызжа слюной, отшвырнул ее от себя и снова замахнулся кетменем. Алуха успела уклониться в сторону и перехватила кетмень за рукоятку. Старику обуяло бешенство. Он стал вырывать из рук Алухи кетмень, но не смог ее перебороть. Тогда он изо всей мочи пнул ее ногой в живот. Она согнулась, вскрикнула в страхе:

— За что? За что? — и рванула к себе кетмень.

Блеснуло в лунном свете острое лезвие, полоснуло старика по иссохшей щеке и ткнулось ему в висок. Струйка черной крови вспухла на седых волосках. Старики закачался, выпустил из рук кетмень и повалился навзничь. Выронила кетмень и Алуха.

— Боже мой, боже мой! Что я наделала? — Ноги ее подкосились, она упала рядом со стариком.

Услышав ее крик, торопливо подошел дряхлый, подслеповатый сторож и наткнулся на двух бесчувственных людей, забрызганных кровью. Разом по всему аулу залаяли псы. В юртах зашевелились, загомонили. Со всех сторон сбегались люди: женщины, детишки и чабаны, оказавшиеся неподалеку.

Алуха пришла в себя, увидела старика и снова закричала, теряя рассудок.

Старик лежал недвижно. На его сивых усах запеклась кровавая пена.

— Убила я, горемычная... Убила я, нечестивая... — вопила Алуха, не помня себя, в отчаянии ломая руки и не замечая, как ее тычут кулаками, рвут за волосы и клянут соседи по аулу — мужчины и женщины.

¹ Кун — выкуп за убийство.

Не успело взойти солнце, как страшная весть разнеслась по аулам далеко окрест. Женщина-кровопийца сперва обманула, потом убила мужа! Если бы небеса треснули, горы обрушились, земля разверзлась и поглотила бы множество людей, вряд ли был бы такой шум в степи. Из уст в уста, из уха в ухо передавались зловещие слова: «Чудовище...», «Страшилище...», «Из преисподней...» И в канцелярии волостного управителя и в мечети Баба-Ата поднялась небывалая суета. Вспомнились власть имущие, гладкотельные и чалмоносные духовные отцы и наставники, подняли на ноги всю округу, всю огромную степную волость.

На похороны старика собрались люди из полутора тысяч юрт — кто пешком, кто в телеге, кто верхом. Хоронили его, проклиная женщину — злодейку, нечестивицу и убийцу.

Затем в условленный день стали стекаться к мечети Баба-Ата ишаны, хазреты, хальфе, аткаминеры¹, бии и прочие волостные чины, белобородые и чернобородые, вершить праведный суд.

После жестких побоев Алуа долго не могла прийти в себя. Рассудок ее был мутен. Вся в синяках и кровоподтеках, опухшая, с кровоточащими ранами на лице, неузнаваемая, она и сама никого не узнавала. И без конца твердила одни и те же слова:

— Кенжебек, светик мой, Кенжеш... Кенжетай, несчастный мой... Сиротка горькая... — Иных речей от нее не слышали.

Она никого ни о чем не просила, не молила ни бога, ни людей, не ждала ни сочувствия, ни милосердия. Прекрасные ее глаза на обезображенном лице были сухи и горели черным огнем. Она ничего не ела, крошки в рот не брала. Она ждала смерти. Смерть, скорее смерть — ничего лучшего она не желала.

Волостной Сыrbай поручил расследование дела своему ближайшему бию Уаису. Бий должен был допросить Алуа и Конкай.

Когда важный тучный белобородый Уаис вошел к Алуа, она не смущилась, не застеснялась его, даже не встала и не взглянула на бия. Согнувшись, как струха, она бормотала не переставая:

¹ Аткаминер — доверенный баян.

— Светик мой... единственный мой... сиротка моя..
Увижу ли я тебя хоть на краю могилы?

Она не отвечала на вопросы Уаиса, не узнавала его и не слышала. Грозный бий не сдержался, повысил на женщину голос. И невольно отшатнулся, когда она подняла на него глаза.

— Я не убивала,— сказала, она.— Я не хотела. Этот бог поразил его кетменем, которым он хотел убить меня... Кун за меня заплатил, а сам себя ударил.. свалился, бедняга... оставил сиротку...— И опять она зашептала свои причитания.

Кара-ишан прислал к Алуха своих хальфе Хасеня и Дайрабая, но и те не добились от нее того, что хотели.

— Оставил сиротку...— твердила она.— Бог его на казал за то, что он не жалел сына... Бедный мой горе мыка. Кенжеш, несчастный мой...

Когда же хальфе прикрикнули на нее, она свалилась без памяти у их ног.

С рябым Конкаем бий Уаис справился легко. Конкай потерял единственного покровителя и благодетеля и дрожал за свою шкуру. Вначале рябой ни в чем не признавался, все отрицал. Знать он не знал чужих жен, спал только со своей, а убитому был верным рабом и дворовым писом. Бий выслушал Конкую со вниманием, затем свел его лицом к лицу с женщинами и жигитами, одноаульцами которым он похвастался, что снял луну с неба. Конкай завыл, выдавливая из глаз лживые слезы, каясь и кляня греховодницу и преступницу, соблазнившую его, простака.

После этого сошлись отцы и хозяева волости во главе с Сырбаевым и кара-ишаном на совет, чтобы видели смертные, как едины сила и право мечети и волостной власти.

Обоих хальфе обуревало сомнение. Им еще не доводилось заниматься судейством и выносить приговоры по шариату. Слова Алуха и все ее поведение поразили хранителей веры. Что, если она заговорит в час казни и, упаси бог, смутится народ? Глаза у нее, как у мученицы, глаза, как у праведницы... Хальфе колебались. Их доклад кара-ишану был уклончив.

— Истинно, хазрет, все мы подвластны закону шариата. Вы учили и учите нас этому закону, вливая

в наши души мудрость. Если мы отступим от него по слепой ошибке, что станет с верой в его справедливость? («И в нашу непогрешимость?» — думали хальфе.) Есть опасения, что эта несчастная женщина не замышляла убийства... Суд под горячую руку — палка о двух концах...

Услышав такие речи, волостной Сыrbай вскипел. Его кабаний складчатый загривок налился кровью.

— Что вы там оба мелете, вы, хальфе! — закричал он грубо и бесцеремонно.— Если у вас есть сомнения, у меня есть свидетельство... нате, берите его!

Кара-ишан, сидевший в величавом молчании, поглаживая вьющуюся седоватую бороду, вздрогнул, покривился и, не глядя на волостного, стал быстро перебирать крупные желтые камни четок, как бы читая коран и вознося молитву.

— Астагфиролла, астагфиролла, астагфиролла...¹ — произнес он негромко с приличествующим его сану печальным вздохом, давая понять Сарыбаю, как недостойна и невежественна его выходка перед небом и всеышним.

Хасен-хальфе осмелился даже укоризненно покачать головой, хотя волостной был старше его годами.

— Грех... греховы эти слова в устах раба божьего... — заметил хальфе, ибо кто не знает, что «Есть сомнение? Есть свидетельство!» — слова священные. Их произносят ангелы Мункир и Нанкир, допрашивая души умерших на том свете.

Сыrbай и прежде не ладил с духовниками, не становился на пятикратную дневную молитву, не соблюдал постов, не платил зекет — налог, согласно религиозному обычью, был грешен и нетверд в вере, дик и непослушен. Он заходил в мечеть, а своего сына и младшего брата послал в медресе, но никогда не преклонялся перед ишаном, а тем паче перед прочими служками. При случае он каялся в грахах, но не исправлялся и не возвращался на путь божий, как подобает правоверному мусульманину.

Ныне захотелось ему поговорить с отцами-муллами на их ученом языке, и сразу он сотворил богохульство

¹ Астагфиролла — господи помилуй.

и кощунство. Однако уступить муллам Сырбай не сорвался. Мечеть Баба-Ата стояла на его земле. И пусть его зовут насильником, самодуром, от этого его власть страшней, а значит, крепче.

Волостной уже объявил свой приговор. Решил он казнить Алуа так, как раньше в степи никогда еще ни одного человека не казнили, чтобы наперед неповадно было, навек запомнилось. Имелась у волостного на то особая причина, которую он держал в уме.

Лет пятидесяти от роду, коренастый жирный коротыш с заплывшими узкими глазками и беззубым, впалым ртом, Сырбай имел трех жен. Младшая, двадцатипятилетняя Сакипжамал, рослая, румяная, была привлекательна и изящна. Про таких в народе говорят: «С прямым носом и тонкой талией». Сырбай называл ее ласковельно — Сакыш. За нее он отдал родителям невесты сколько скота и не жалел об этом.

Но с некоторых пор Сакыш стала непомерно упрямая, вспыльчива и слезлива. Появилась у нее привычка перечить мужу. И обучилась она у смутьянов смелым словам, которые допрежь Сырбай не слыхивал от жен и слышать не хотел.

— Горемычна казахская женщина. Нет у нее счастья в бескрайней степи, — говаривала Сакыш. — Что у нее в сердце, какова ее воля — никто не спросит. Отдают ее, связав по рукам, по ногам, за калым противному, злому, нежеланному человеку, сколько она ни лей горьких слез. Когда же наступит и для нас светлый день?

Бот что бесило волостного. Токал¹ становилась уж больно дерзка и своюенравна. Он попробовал припугнуть ее, прикрикнуть, пригрозить ей плетью. И ожегся. Сакыш вырвала из его рук плеть и сама закричала:

— Раскрой глаза, слепец! Я не раба тебе безгласная! Берегись, наступит мой день... этой самой плетью выбью из тебя спесь!

Оторопел волостной. Точно морозом продрало ему спину. Если дальше так пойдет — хоть не женись. За что он уплатил такой калым? Целое стадо скота!

Сырбай подозревал, что смущает Сакыш соседний

¹ Токал — младшая жена.

мугаллим¹, которому он отдал на обучение сына от старшей жены. Собирался примерно приструнить учительницу. Но, видимо, этого мало. Бабий недуг, оказывается, опасней, чем Сырбай думал. Исходит эта беда из города, источника всех степных бед. Там, в городах, мугаллим не один, там их много. Там развелись грамотеи не только из байских детей, но и из простонародья, батрацкой голоты, которой не по карману платить калым. И оттого возникли там газеты, а из них пошла по степи ересь — дать волю женам, учить их грамоте, как мужчин. Именовалась сия ересь громко — джадид-садид, а учила разврату и самовольству. Недаром в городах Шиили, Туркестане, Акмечети и поблизости от них так часто стали женщины-молодухи уговаривать от мужей. Приближенные Сырбая, почтенные бии Уаис и другие, говорили об этом, точно о повальном море или о чуме.

Сошлись на одном — нужен великий страх. Женщина убила мужа... Убить ее! Да так, чтобы содрогнулись сердца у молодых жен, чтобы волосы у людей встали дыбом, а Сакыш прикусила бы язык. С тем и поехал волостной в Баба-Ату.

Поехал, точно на большой праздник, с огромной свитой — двумя посыльными, несколькими старшинами и множеством аткаминеров, прожженных сутяг, готовых лизать языками навоз. Ехали они верхом на отборных конях, дабы вся волость заметила торжество, могущество Сырбая.

Сырбай хорошо помнил Алую, ее гостеприимство, скромную приветливость. Она красавица, молодая мать. Тем хуже для нее... В попутных аулах женщины не отваживались поднять на волостного глаза, до того он был свиреп и грозен. Он упивался своей властью.

И тут-то уперлись, стали тянуть время духовные отцы. С полудня Сырбай уединился с ними в одной из келий мечети и до самого вечера не мог договориться.

— Терпение, волостной, терпение, бии, — уверчивал кара-ишан. — Терпение — благодать, нетерпение — бесовская утеша, — и принимался сыпать изречениями из корана.

Сырбай в ответ крикливо бранился, нарочно говоря

¹ Мугаллим — учитель.

на степном просторечии. Но хазрет словно не замечал его наглости. У хазрета был свой простой расчет. Пусть думают там, за стенами мечети: суд долгий, неторопливый, стало быть, мудрый; судят в мечети — значит, по-божески.

Уаис, хорошо понимавший игру служителей аллаха, полдня соревновался с ними в велеречии и краснобаистве, но к вечеру и ему прискучило. Он шепнул что-то волостному. Тот кивнул, соглашаясь, и знаком вызвал своего посыльного. Посыльный, присев на колено, выслушал волостного и, пригибаясь, побежал к двери.

Через минуту на пороге остановилась, низко кланяясь, старуха — из тех старух, имя которым карга.

— Ты Кызтумас? — спросил ее Сырбай.

— Я, господин.

— Ну? Сделала, что тебе велели?

— Сделала, господин, все сделала.

— Чего ж ты стоишь, с-старая?.. Веди его сюда.

Кызтумас протянула руку и втащила в келью из темной передней испуганного бледного мальчика. На его щеках темнели размазанные потеки от слез. Старуха не успела его даже умыть. Это был Кенжебек.

После того как похоронили его отца, а мать посадили под замок, Кенжебека отдали в руки старой Кызтумас. Так приказал волостной. Мальчик и при матери был робок и боязлив, а теперь весь трепетал от страха перед чужой сердитой и драчливой бабкой и перед тем, чему она его учila. Он не мог понять, чего она от него хочет.

Отец постоянно говорил про мать плохие бранные слова. И бабка говорила про нее так, что ему стыдно было слушать. В последние дни мать сама себя ругала и плакала, говоря, какая она плохая. Приходил еще важный аксакал с большим тенге, висящим на шее, — знаком судьи. Он тоже говорил про мать, и его слова были самые страшные. Мальчик слушал их ни живой ни мертвый. Матери не было с ним, ее он больше не видел, и ему не к кому было приникнуть, доверчиво закрыв глаза.

Когда старуха втащила Кенжебека в огромную холдиную келью с нависшими каменными сводами и он увидел в сумеречном свете людей в белых чалмах, си-

дящих неподвижно на возвышении из ковров и одеял, сердце у него замерло. Он не мог ни заплакать, ни вскрикнуть, ни пошевелиться. Только изо всех сил захмурился.

— Сколько ему лет? — спросил Сырбай.

— Шесть от роду... исполнилось...

— Мужчина! — заметил бий Уаис.

И тут раздался вкрадчивый и слегка гнусавый голос. С мальчиком заговорил сам хазрет:

— О, несчастное дитя... Ты остался сиротой, но у тебя был благородный отец, он умер смертью праведника. Проклятая грешница, носящая имя Алуа, тебе не мать. Она животное, зверь, у нее нет души. Велением аллаха, по высшему закону шариата ей будет вынесен приговор. Но ты, сын правоверного мусульмана, должен дать на это свое согласие. За тобой последнее слово... Даешь ли ты свое согласие? Скажи, невинное дитя!

Мальчик молчал, низко опустив голову. Он по-прежнему не понимал, чего от него добиваются. И здесь ругали мать. Все ее ругали. А он хотел к ней, скорей к ней. Она одна могла спасти, укрыть его ласковыми теплыми руками он этих строгих, холодных, страшных чужих людей.

Сырбай нетерпеливо хлопнула себя ладонью по ляжке, и Кызтумас дернула мальчика за рукав, больно ущипнула в бок. Наклонившись к его уху, она зашипела:

— Я же тебе говорила... сколько я тебе долбила... Мать убила твоего отца! Теперь она не мать тебе... не мать, слышишь? Она сумасшедшая, помешанная. Вот попадешься ей на глаза, она и тебя убьет. Она хочет съесть тебя живьем. Ну... говори, что ты согласен... Кивни головой! Головкой, головкой кивни...

Мальчик на секунду поднял глаза, оглянулся, как затравленный зверек, и оба хальфе стали смущенно покашливать. Глаза ребенка удивительно напоминали глаза его матери — глаза страдалицы.

— Тебе говорят, кивни головой! — вскрикнул Сырбай, ткнув в сторону мальчика волосатым кулаком с зажатой в нем плетью.— Дай согласие, дурень!

— Кивни, милый, кивни,— добавил бий Уаис.— Скажи, согласен.

Мальчик попятился, но Кызтумас пнула его ладонью в затылок так, что тот невольно поклонился, и стала щипать, шепча:

— Говори: я... я... согласен...

— Я... Я... со... со... — пробормотал Кенжебек, стараясь увернуться от ее щипков.

В тот же миг волостной Сырбай заорал, отверзая мясистый беззубый рот:

— Ага! Кончено! Хватит с него, убери его с глаз долой! Он свое сказал! При свидетелях... Теперь некому требовать кун за убийство.

Мальчика тотчас увеличили. Карапашан и волостной управлятель пришли наконец к согласию. Их решение было единодушным, и они отправились вместе освятить его вечерней молитвой.

В мечети собрался народ со всей округи. И те, кто совершил омовение перед молитвой, и те, кто не совершил его, молодые и старики, богомольные и небогомольные, все сошлись в мечеть. Молитва была короткой.

Люди в безмолвии ждали, что будет дальше. Все понимали, что страшный час пробил.

И вот волостной и хазрет, а за ними хальфе и бий Уаис выступили вперед и медленно, важно направились к черному утесу, который нависал над рекой, спадая к ней обрывистыми каменными ступенями. Люди тесной толпой повалили следом.

Подойдя к утесу, Уаис величаво обернулся, поднял правую руку и махнул длинным рукавом чапана. Впереди толпы появилась Алуа со связанными за спиной руками, они были скручены сыромнатным ремнем. Черные, как крыло ворона, волосы ее спадали на плечи, свесились на лицо. Тонкая белая материя наполовину покрывала ее затылок. Алуа шла к утесу, не оглядываясь, тяжело ступая, словно неся непосильный груз, и это был ее последний путь.

За ней, сутуляясь и часто озираясь, скалясь, подобно псу, плелся толстогрудый рябой Конкай. Он держал перед собой, судорожно стиснув обеими руками, кетмень, новый кетмень, тот самый, которым поразил себя в висок праведник Канай.

Накануне, еще до суда, вышло маленько затруднение. Сырбая спросили:

— Кто же ее убьет?

— А этот... как его... собственной рукой!

Рябого привели пред очи волостного и бия Уаиса и объявили ему:

— Возьмешь кетмень... Таков приговор шариата. Ты его выполнишь!

Конкай повалился на колени и стал ползать перед волостным и бием, обнимая их сапоги, колотя себя в грудь и размазывая по скулам слезы.

— Не губите, ради аллаха! — взмолился он, называя волостного почтительными и ласкательными именами.— Никогда я не убивал человека... Пожалейте мою душу! Я все сделаю, все, только освободите меня от этого...

Сыrbай несколько раз хлестнул рябого плетью по спине.

— Ты! Собачий сын! Если будешь вилять, смотри у меня... Так повернем, что Каная убил ты! Сорвatiл его жену, спал с ней с уговором: «Убей мужа, а я женюсь на тебе. Скот и имущество достанутся нам, и будет у тебя молодой муж». На это ты рассчитывал, пес? Сегодня же составим протокол, и повезут тебя в Туркестан, посадят в тюрьму. А потом погонят на каторгу, туда, где на собаках ездят. Понял, куда тебя закатаю? Всю жизнь будешь гнить за решеткой! Только пижни, я с тобой живо справлюсь...— И Сыrbай ткнул его плетью в затылок.

А Уаис, словно сочувствуя рябому, добавил:

— Помалкивай, пустомеля... Две головы у тебя на плечах, что ли? Ты же мужчина! Пусть умрет женщина, купленная за скот. Вставай, иди делай, что тебе велено!

И рябой Конкай пошел и взял кетмень, не говоря более ни слова.

Зашло солнце, длинная тень от черного утеса расползлась и покрыла собой всю степь, когда Алуга и следом за ней Конкай подошли к скалистому подножию. Дальше пути не было. Алуга подняла голову и заголосила:

— Кенжебек, мой Кенжеш!.. Сиротка моя бедная... ягненок мой!..

Но так она и не увидела сына перед своим концом, ей не дали с ним проститься.

Рябой Конкай замахнулся и ударил Алуа кетменем по темени. Метко ударили. Кровь обагрила черные волосы. Алуа без стона рухнула на землю. И оборвалась ее жизнь.

Не шелохнулась огромная толпа близ черного утеса. Застыли люди, точно окаменев. Прилипла холеная чистая рука хазрета к волнистой, тщательно расчесанной бороде. Гордо белели чалмы на головах хальфе. И только коротыш волостной похлестывал себя плетью псакагу.

Под утесом была мягкая земля, коричневая, как запекшаяся кровь. Конкай колпнул ее кетменем, вырыл небольшую ямку. Потом, набирая на кетмень раскрошенную землю, трижды бросил ее на лицо Алуа, на открытые ее глаза. Но он не засыпал их. Они смотрели на него неподвижно, ясные, будто живые. Конкай выронил кетмень, побежал от утеса, спотыкаясь, протягивая руки, как слепой. И люди расступались перед ним, чтобы он их не коснулся...

— Вот так на этом самом месте судили и казнили по волчьему закону женщину, по имени Алуа... — закончил свой рассказ Алмасбек Жайлыбеков. — Здесь она жила... Ее малолетний сын, говорят, недолго обивал пороги у чужих людей. Зимой мальчик захворал и последовал за матерью.

— Страшное дело, — проговорил Алим Еримбетов, поглядывая на молчавшего Карпова. — И страшно ты рассказываешь, Алмасбек, друг мой. Просто в груди леднеет... Что за люди здесь жили? Такое злодейство... такой позор! Неужто не нашлось ни одного человека заступиться, подать голос в защиту? На глазах у стольких людей... женщину... связанныю... Это чудовищно, это как клеймо проклятья на целый народ!

— Ого! — сказал Карпов с едва приметной грустной улыбкой. — Недаром вы в прошлом животновод товарищ Еримбетов. Легко ставите клейма...

— Нил Петрович! — горячо отзывался Алим. — Я не только животновод, я партработник. И я казах. Я горжусь, когда называют имя Амангельды, и мне стыдно, когда вспоминают Алуа.. Вот вы спросили: «Это здесь жила женщина Алуа?», а у меня сердце заболело.

Карпов положил руку на плечо Алима, сказал, глядя ему в глаза:

— Тогда, значит, вы поняли, почему я, новый человек в этих краях, спросил вас про Алую.

Алмасбек выпрямился, огляделся.

— Было у нашего народа сердце, всегда было, хотя и не было у казаха в те времена воли и вязали его по рукам и ногам бай, бии и муллы. Нашелся голос в защиту чести народной, пусть слабый, но незабываемый! Голос молодого акына Жанузака. Ол любил Алую и не смог жить без нее... Его песни многие слыхали, многие пели — и те, в которых он славил красоту, любовь, и те, в которых он их оплакивал. После гибели Алую Жанузак затосковал, пел песни жоктау, то есть плачи. Он поднял мертвое тело Алую, обмыл, похоронил. А потом, летом и зимой, уходил на ее могилу и пел... Еще молодым, лет двадцати пяти, он стал слепнуть от слез, как это бывает с матерями, потерявшими детей. И сам о себе сказал тоже песней, что судьба лишает его зрения, чтобы он не видел лиц других женщин и не забыл, какие были глаза у Алую! Самое лучшее, что осталось от Жанузака, его поэма, названная им «Смерть Алую». Она и поныне живет в народе. По сей день ее поют в этой местности на вечерах, и люди плачут, как плакал неутешный Жанузак.

— Что же стало с ним самим? — спросил Карпов.

— Его давно нет в живых. Говорят, что в тридцать лет он был совсем слепым, дряхлым стариком...

— Да, друзья... Вправду сердце болит, — проговорил Нил Карпов, глядя на черный утес, на его обрывистые скалистые бока. — «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»... Так, кажется, сказал один знаменитый акын. Мне очень хотелось бы услышать, и я, надеюсь, услышу песни Жанузака...

Глава третья

1

Шла уборка хлопка. Тысячи мужчин и женщин, юношей и девушек, даже школьников вышли на поля, которые бело-зелеными волнами уходили за горизонт. Совхозы и колхозы трех районов соперничали в скоро-

сти, усердии и упорстве, попеременно обгоняя друг друга.

Под палящим солнцем по кустистым полям катилась шумливая, веселая, дружная, многорукая людская волна.

Коллектив медицинского института, прибывший из Алма-Аты, расположился в крытом железом школьном здании колхоза «Красная звезда». Не только залы классы и кабинеты, но и длинные коридоры были уставлены рядами топчанов. Свободным остался только узкий проход. Одна незаметная дверка вела в реденький, недавно посаженный школьниками сад, а другая всегда открытая,— в кабинет директора, где сейчас был медпункт.

Заведующий медпунктом, профессор, уехал в район, и прием вел студент пятого курса Ильяс. На длинной скамейке и двух-трех стульях в коридоре ждали своей очереди больные; их было немного—русская старушка, двое казахов средних лет. Особняком держалась плечистый коренастый молодой жигит с взъерошенными волосами, узкими глазками и толстыми набрякшими веками, словно от недосыпания или перепоя. Один сапог был снят, штанина подвернута и голень обмотана большим поясным платком, запятнанным кровью. Сути брови, сжимая зубы так, что катались желваки, он шумно вздыхал, раздувые ноздри его широкого носа вздрагивали. Он злился, глядя через открытую дверь на Ильяса.

Тот перевязывал руку своему однокурснику и басил, разговаривая с ним. Нашел время!

Вообще не нравился парню этот недоучченный лекарь. Раздражал опрятный, щеголеватый «городской» его вид: чисто выбритое лицо, узкое, с розовыми тенями первого загара на скулах, аккуратно причесанные волосы под белой шапочкой, стетоскоп в нагрудном кармане халата, точно у настоящего врача...

— Послезавтра зайдешь,— сказал Ильяс, провожая товарища к двери.

Хмурый жигит рванулся было с места, чтобы войти без очереди, но в это время на улице скрежеща затормозила машина. Он невольно оглянулся.

Две колхозницы ввели в школу девушку. С одной стороны ее поддерживала за пояс всем известная бри-

гадирша Зауре-апай, а с другой — смуглая молодайка с напуганным курносым и скуластым лицом, наполовину закрытым рассыпавшимися волосами.

Тонкие, словно выведенны кистью брови девушки были мучительно сведены над закрытыми глазами, щеки белы. Правая ее рука беспомощно висела. Девушка стонала.

«Бог мой... Это же Айслу!» — ошеломленно подумал Ильяс, отстраняя взъерошенного жигита, который стоял у нее на дороге, сердито бурча сквозь зубы.

— Миленький братец, имя ваше, извините, запамягтowała... — скороговоркой начала Зауре-апай.

Ильяс назвался; на звук его голоса приоткрылись большие серые глаза девушки, словно лучик сверкнул в них, — она тоже узнала его.

Преодолевая мучительную боль, Айслу словно бы искала в лице молодого человека знакомые ей черты. Он ли? Тот ли это Ильяс, с которым она виделась в Алма-Ате? Тот был как будто скромней, не так уверен. Тот студент... Этот врач.

— Ты скорей осмотри доченьку, светик Ильяс. Уж и не знаю, что у нее с рукой приключилось: сломала, вывихнула? — говорила Зауре-апай, тесня Ильяса и вводя Айслу в кабинет.

Лицо девушки порозовело, она сдерживала стоны. Прежде всего Ильяс сделал ей болеутоляющий укол на случай, если придется подождать возвращения профессора. Вдруг у нее сложный перелом? А тем временем Зауре-апай успела сообщить, что звено вот этой девушки самое передовое из всех звеньев четырех бригад «Красной звезды», но бедняжка упала с хлопкоуборочной машины, отступилась и полетела вниз вместе с охапкой хлопка-сырца.

Ильяс не решился сказать Айслу обычное: «Раздевайтесь».

— Снимите, — попросил он, дотронувшись до ее помятой белой кофточки.

Айслу испуганно отстранилась.

— Вот здесь, здесь... — шепнула она, непроизвольно прикрывая ладонью поврежденный локоть.

Зауре принялась быстро расстегивать пуговицы и, несмотря на сопротивление и стоны Айслу, стянула рукав с ее больной руки.

Залившиесь густым румянцем, Айслу старалась прикрыть грудь рукавом и краем блузки. Кровь то приливалась к ее лицу, то отливала, и теперь уже не от боли, от смущения. Перед ней был тот самый Ильяс, который смутил ее замечанием о ботанике в Алма-Ате... А Ильяс, кажется, пришел наконец в себя. Осмотрев руку Айслу, он неприметно с облегчением вздохнул. Перелома нет. Вывих в локтевом суставе. Держа ее за запястье, он вдруг подумал, что никогда прежде не видел такой совершенной, такой нежной, такой прекрасной женской руки, напоминавшей руки греческих богинь, которых он видел в московских музеях.

Зауре и смуглая молодайка отошли в сторонку, и Айслу низко опустила голову, стоя с обнаженным плечом перед молодым человеком; ее сверкающая золотом толстая коса, казалось, отбрасывала на кожу розовые блики.

Вихрастый жигит стоял у самой двери. Откинув на бок спутанные волосы, он уставился на Айслу также лысым взглядом.

«Что за дивная красавица? Откуда здесь взялась такая пери? Ай, ай, и кто же такая?» — думал он, и замечая, что стоит с открытым ртом, весь подавившись вперед, забыв о своей пораненной ноге, не в силах оторвать от девушки захмелевших, жадных глаз.

На минуту Айслу оглянулась на Зауре, словно ища опоры. В это время твердая сильная рука Ильяса внезапно сжала ее нестерпимо ноющую руку ниже плеча другая железной хваткой вцепилась повыше кисти. Не успела девушка охнуть, как его безжалостные руки что-то сделали такое, отчего острые боль пронзила Айслу, а локоть хрустнул так громко, что Зауре вскрикнула и побежала к ней. Все пошло кругом в глаза Айслу. Когда она очнулась, боли не было, локоть онемел, и эта сладостная немота растекалась по всему руке.

Бывалая Зауре первая поняла, что сделал студент.

— Ай, молодец! Да ты, оказывается, искусник. Чудеса, да и только! Косточки-то на месте, а? Айслу, душенька, ведь не болит? Говори!

Ильяс, довольный, улыбался. Он и сам не ожидал, что так легко справится с делом. Айслу поглаживал

онемевший локоть, приговаривая: «Не болит, совсем не болит, ой, апа-жан, ой, ага-жан...» — и с удивлением глядела на Ильяса лучистыми глазами. Он казался ей героем и мастером, и она готова была без конца благодарить, чтобы он почувствовал ее почтение к нему, почтение и уважение.

Ильяс подвесил руку Айслу на широком бинте на уровне груди. И каждый раз, когда он оборачивал бинт вокруг ее шеи, коса тяжело падала ему на руки и он ощущал на щеке дыхание Айслу. За всю свою недолгую врачебную практику Ильяс никогда так не волновался. И студент и девушка были рады встрече, но не смели этого показать.

Пока Айслу надевала кофту, слушала наставления Ильяса, пока она и Зауре кланялись и благодарили, жигит из коридора неотрывно глядел на девушку. Айслу прошла мимо и спустилась по ступенькам в сад. Жигит стоял как вкопанный.

Уборочная страда не коснулась большого дома председателя районной потребкооперации Абильмажина Амирова. Дом стоял на тихой улице аула Жиделе в старом фруктовом саду и был погружен в прохладу и покой. На застекленной террасе, выходящей во внутренний двор, семья Абильмажина пила вечерний чай.

Жена хозяина Асель, страстная любительница чая и мастерица его заваривать, обычно в отсутствие мужа проводила здесь все свои вечера. Ей нравилось сидеть на полу, покрытом кошмой и стеганым одеялом, у низкого столика с кипящим самоваром. В просторном цветастом платье, сшитом на узбекский манер с мелкими складочками на груди, под тонким шелковым платком, лишь слегка прикрывавшим ее блестящие черные волосы, ей было удобно и приятно. Плотная, уже начинаяющая полнеть, она была быстра и подвижна. На ее румяном лице резко чернели густые брови. В ушах болтались крупные золотые серьги. Пальцы унизаны множеством колец.

Чуть повыше Асели сидела пожилая женщина в черной безрукавке поверх светлого широкого платья, в старинном головном уборе из белой ткани, стоявшем башней на ее голове. Прищуренные подслеповатые глаза старухи, казалось, никого не видели, нос она уткну-

ла в пиалу. Вместе с женщинами пил чай и Сагит, угрюмый, мрачный. Он только что пришел из медпункта. Одна его нога без сапога, аккуратно забинтованная, была протянута вдоль стола.

— Подай ему под локоть подушку,— процедила старуха.

Асель с легкостью, неожиданной для ее пышного широкобедрого тела, вскочила, быстро принесла и подсунула под локоть деверю две белоснежные пуховые подушки.

Сагит полулежал боком к столу и медленно потягивал кок-чай. Днем он свалился с коня и рассек себе ногу о камень. Но после того как Ильяс перевязал ее, смазав черной, как йод, мазью, нога больше не беспокоила жигита.

По натуре замкнутый и немногословный, он и за время учения в городе не соскучился по родным. И мать и старшая невестка не пытались с ним заговорить. Но заняты они были им и его делами.

— А когда, когда вы видели, что там есть... в том доме? — спросила у свекрови Асель, косясь на Сагита.

— Да в то лето, когда в ауле Найманов умер старый знахарь. Ты небось слыхала... Помнишь его?

— Помню, помню.

— Так вот, на первые семидневные поминки и прислали стариков со всей округи. Очень много тогда собралось народу. Некоторых пришлось уговаривать в соседних домах. Я тогда с гостями и попала к вдове Нурбубу. Ну и разглядела, что у нее есть за душой... — Старуха долго и жадно тянула крепкий чай. Бесцветные глаза на ее безбровом сером лице зловеще поблескивали. Широкие ноздри приплюснутого носа вздрагивали так же, как у сына. — Говорю тебе, эта вдова набирала столько добра, что его хватило на две стены до самого потолка.

На две стены! Дорогие вещи, отрезы, украшения... До всего этого падка и Асель. Восхищенно причмокивая, она отставила пиалу.

— А ведь вдова... Откуда взяла? Такое богатство!

— Ты еще скажешь, откуда! Сколько лет ее муж был фельдшером в ауле. Мало ли денег загребал? Она и сама, Нурбубу, мастерица на все руки. Прижимистая

хозяйка. Как ни говори, малые дети на руках. Наверно, про черный день копила. Готовила дочери на приданое, сыну про запас. Бываю же такие матери.

— Э-э, так я знаю эту Нурбубу, оказывается! — вскрикнула Асель. — Она, она самая... Каждый год на уборке хлопка большой трудодень зашибает. И каждый год ее в районе премируют. У нашего же Абекена¹ в кооперативе берут товары для этого... Ну, расскажи хоть, какие вещи у нее видела?

— Сказано тебе, у нее такая большая комната, вроде твоей столовой. И вдоль двух стен, как прежде в больших восьмистворчатых юртах бывало, расставлены узорчатые скамейки... А на тех скамейках — сундуки, сундуки, и тоже все разукрашенные; три сундука зеленою жестью обиты, а по ней серебряные узоры дорогие. На сундуках, конечно, лежат свернутые ковры под покрывалами, а на них до самого потолка чего-чего только нет: и домотканые паласы, и одеяла с подушками, и скатерти плюшевые с блестящей бахромой. Одеяла-то не простые, а шелковые и из чистой шерсти. Простыни и те из шелков, подушки все пуховые, большие, а маленьkim просто числа нет. Ох, ну и богатая эта вдова. Дочь ли замуж выдавать, сына ли женить — всем добра хватит!

Асель глядела на свекровь как завороженная, лишь изредка покачивая головой и цокая языком, однако не забывала примечать, как слушает их Сагит.

— Знаете, апа, теперь я все вспомнила. У этой Нурбубу есть дочь — невеста на выданье. Хороша девица! — Асель ухмыльнулась, поводя жгучими бровями. — А ведь и мы, можно сказать, не с пустыми руками сидим: у нас жених. Вот наш Сагит окончил учиться, приехал, слава богу, домой, на хорошую работу устроился. Можете ли вы жить спокойно, пока не жените своего младшего любимого сына, моего единственного деверя? Да и все мы... как мы можем сидеть сложа руки, глядя на его одинокую жизнь!

Сагит молча пил чай, будто разговор шел не о нем. Тщетно невестка бросала на него умильные взгляды. Шумно вздохнув, он отвернулся.

Зато оживилась старуха.

¹ Ласковое уменьшительное от имени Абильмажин.

— Дочка у нее, говоришь? Да разве она уже выросла? Я ее в тот раз не видела. А ведь правда, когда погиб муж Нурбубу, люди ее жалели... осталась, бедная, с двумя детьми на руках. С тех пор сколько прошло? Да уж лет, поди, пятнадцать. Должна уж девка заневеститься. Ну, и как же, говоришь, хороша?

Женщины мельком переглянулись, и обе покосились на Сагита.

— Дочка старше сына,— ответила Асель.— Ей сейчас лет восемнадцать-девятнадцать, и если я чего не спутала, она в прошлом году окончила десятилетку. Ну и такая красавица, каких в нашем краю не было и нет! Это уж поверьте мне. Вот как хороша!

Асель была себе на уме: ей непременно нужно было породниться с вдовой. Пусть Сагит женится, а уж Асель со своим Абекеном сумеют вытянуть из дома Нурбубу ее шелковые одеяла, пуховые подушки и узорчатые сундуки.

Когда, устраивая свой дом на теперешний городской лад, Абильмажин и Асель привозили то шкаф, то стол, то кровать, то стулья, старуха презрительно морщилась, отводя в сторону свои холодные змеиные глаза.

— Опять привезли деревяшки, пропади они пропадом! Только бока об углы обобъешь...— ворчала она.— Ни сесть, ни лечь, ни облокотиться не на что. А коли и сядешь, все тело заломит, устанешь до смерти. Кроме гвоздей, ничего в них нету. Тоже мне роскошь! Да разве роскошь такая бывает? Сами себе наказание придумали. И чего галдят: мебель, мебель! Весь дом загромоздили, все торчмя торчит, а приткнуться некуда.

Асель посмеивалась над сварливыми речами свекрови, по-прежнему набивая свой дом модными гарнитурами, которые Абильмажин правдами и неправдами добывал в Ташкенте. Но душу Асели гладила застисть.

Старуха была из некогда богатой семьи и своими глазами видела старинное убранство и прежнюю роскошь домов городских купцов и степных баев.

— Добро наживать, да не это! — твердила она.— Надо что покупать? Ковры, шелка, бархат, сукно. Ковры брать не простые, ворсистые, паласы ручной рабо-

ты подороже. И все это в сундуки. И в глаза оно никому не бросается, и завидно людям: а что там?..

Асели хотелось этих сундуков, этой зависти людской. Давно хотелось. И вот вожделенное сундучное богатство, мягкая роскошь, о которую не объешься бока, перед ней... Оно по соседству, рукой подать... И так просто к нему подступиться...

— Слушай, Сагит, ты понял или нет? — спросила напрямик Асель. — Хоть бы раз в жизни нас послушался! Тебе уже двадцать шестой год, слава богу, обучился, стал техником. У нас тут, в нашей проклятой пустыне, безводье всех доконало, вода от века дороже выкупа за убитого отца. А ты-то не кто-нибудь, гидротехник! За те месяцы, что ты тут, был ли хоть один колхоз, хоть одна бригада, чтобы не сунулись к тебе с поклоном насчет воды? А коли так, кому же, как не тебе, выбирать самую лучшую девушку здешних мест? Перовую красавицу! Вот твоя родная мать. Вот я, твоя невестка. И мы тебе прямо говорим: пора. Заводи свою семью, женись на дочери Нурбубу, слышал небось, что мы о ней говорили!

— Бросьте, женге! — грубо буркнул Сагит, неприязненно глянув на невестку. — Кто вас просит меня женить? Что я, аульный жигит, которому родители за калым подбирают невесту? Вы это бросьте! — повторил он со злостью и отвернулся.

Сагит думал об Айслу. Ему виделось ее обнаженное, сверкающее белизной плечо. Он видел его так близко, что, казалось, стоило протянуть руку, и можно было дотронуться до него. Если другая не будет такой, как эта девушка, то зачем и жениться?

Мать и невестка... Что они смыслят? Нашли тоже красавицу с сундуками... Какая-нибудь мордастая деревенщина...

Мысль о женитьбе была Сагиту желанна и лестна, но он отлично понял, о чем мечтают и невестка и мать. «Не нужно этого, совсем не нужно,— досадливо думал он.— Не о том они говорят, совсем о другом!» Их навязчивые заботы только отдавали его от той, которую он видел днем и которую желал.

Властной старухе не понравился, однако, дерзкий ответ сына.

— Ой, бедненький ты, дурачок! Что это ты как фыркаешь? Хочешь век бобылем прожить? Почему бы тебе не подумать, коли старшие предлагают невесту из хорошего дома?

Но и матери Сагит ответил сердито и отчужденно:

— Вы-то хоть не вмешивайтесь, апа! И не говорите, не надо!

И чтобы избавиться от назойливых бабьих советов, он поднялся из-за стола и, прихрамывая, зашагал в комнату брата, пышно именовавшуюся кабинетом...

Спустились густые сумерки, а на площади, у здания райкома и на соседних улицах жизнь была ключом — разъезжались по домам участники районного совещания хлопкоробов. Резкие сигналы машин неслись со всех сторон. Причудливо изломанные двойные пучки света автомобильных фар плясали в плотной за-весе пыли.

В этот вечер Айслу постигла большая беда.

После второй перевязки Ильяс забеспокоился и послал ее в поселок Жиделе в районную больницу на рентген. Вообще хотелось подольше ее лечить...

В больницу Айслу приехала поздно, с ней там долго провозились, и свою колхозную машину она упустила. Пришлось ждать попутной, а попутной до самого вечера не попалось — хоть иди ночью пешком Айслу решила зайти к своему дяде, который жил в Жиделе.

Айслу знала, что дядя сейчас со своей отарой в пеках, на отгонном пастбище; бездетная тетушка Кульшат наверняка дома. Но жила она на окраине, а больница была близ райкома. Айслу замешкалась, пробираясь среди гудящих машин, а когда наконец вышла на улицу, которая вела к дому дяди, чуть не наткнулась в сумерках на Асель, сидевшую под развесистой алычой у своей калитки.

Асель, узнав девушку, тотчас окликнула ее и первая с ней поздоровалась. И как вкрадчив, как певучий был ее голос!

— Здорова ли, светик мой? Как тебя звать, забыла а маму твою хорошо знаю. Ты ведь дочка Нурбубу из найманского аула, колхоз «Красная звезда»?

— Да, тетушка, да, — торопливо и смущенно ответила Айслу.

Но Асель так и прилипла к ней и живо вывела, зачем она здесь, куда идет. А узнав, рассыпалась в любезностях, радуясь слушаю.

— Мы с твоей мамочкой старые знакомые. Хотя ты и не знаешь меня, но я тебе не чужая. Куда ты, доченька, на ночь глядя одна пойдешь? А наш дом — вот он! Живем мы вдвоем со свекровью, больше никого дома нет. Заходи, пожалуйста, переночуешь у нас! Пойдем, пойдем! — И она за руку потащила Айслу к своим воротам.

В одном Асель не соглашалась: сегодня в доме, кроме нее и свекрови, действительно никого не было. Хлопкоуборочная кампания втянула Абильмажина в свой водоворот, и семья видела его урывками, то среди дня, то глубокой ночью. Второпях на ходу он что-нибудь съедал или выпивал прямо из кувшина, менял белье и снова исчезал. Асель не спрашивала его, куда он едет и когда вернется.

Не было дома и Сагита. Его везде принимали как почетного гостя, и он по обыкновению холостяка кочевал из дома в дом своей многочисленной родни, осевшей в районном центре. Угощался, слушал разговоры о том, какой он знатный, отменный гидротехник...

Айслу никогда не доводилось ночевать у чужих, и в большой дом Асели она вошла робко. На веранде, обложенная подушками, сидела важная старуха с палкой в руке. Айслу, присев на одно колено, как того требовал обычай, почтительно приветствовала ее:

— Здравствуйте, бабушка!

Асель заглянула в сад и позвала: «Баттал, Баттал!» Из темноты возник босоногий мальчишка лет двенадцати с рыжеватыми вихрами на голове. Асель велела ему поставить самовар и, вскоре пошептавшись со свекровью, стала накрывать на стол.

Появился самовар. Асель заняла привычное место около него, и началось чаепитие.

Баттал сел рядом с Айслу. Он учился здесь в школе и одновременно прислуживал в семье своих зажиточных родственников. Он тоже знал Айслу и был любопытен и боек. Он расспрашивал ее, где она еще будет учиться, и она рассказала, как ездила в Алма-Ату сдавать экзамены; к сожалению, в этом году поступить в институт не удалось.

— Теперь на заочное поступишь? — нетерпеливо спросил мальчик.

Айслу ответила, что опять поедет в Алма-Ату попытать счастья.

Асель никогда и нигде не училась, но знала, что многие аульные девушки выходили замуж, не окончив школы.

И это казалось ей вполне нормальным. Она отнюдь не считала себя ниже образованных женщин. Исполненная самодовольства, она, не мешкая, принялась учить уму-разуму свою скромную гостью.

— Ты уже окончила здешнюю школу. Чего ж тебе еще? Твоя мать вдова, все свои молодые годы положила — вас вырастить да выучить. Ты теперь взрослая, зачем тебе нужно мотаться по городам да по институтам? Пора свою жизнь устраивать.

Айслу уже не раз слышала подобные советы. Но самый близкий ей человек, мама, настраивала ее по-иному, и она ответила уклончиво:

— Кто знает, тетушка? Думаем учиться дальше, а как удастся, что получится — видно будет.

Заскрипела, стукнула калитка, распахнулась дверь на веранду. Тяжело топоча, вошел смуглый жигит с всклокоченными волосами. Хозяйки дома наперебой заговорили с ним:

— Ах, это ты, Сагит? Проходи, садись!

Хмуро взглянув в их сторону и увидев Айслу, парень остановился, точно ушибленный. Лицо его внезапно расплылось в широкой кроваватой улыбке, потом засияло краской до самых волос.

Валко шагнув, он шумно уселся рядом с матерью и, ухмыляясь, поздоровался с Айслу. К нему уже возвращалась обычная нагловатая самоуверенность.

— Я вас знаю. И вы меня знаете, — заявил он.

Айслу ответила едва слышно:

— Нет, я вас не знаю.

Сагит привык обращаться с девушками бесцеремонно и заносчиво.

— Э, брось! Ты, знаешь, того... брось! Как это ты меня не знаешь? Знаешь! — воскликнул он, сразу же переходя на «ты».

Айслу слегка поморщилась, упрямо качнула головой.

— Нет, простите, никогда не встречала.— И поглядела на дверь — самое время было бы уйти.

— Вот затвердила: нет, нет... Как это нет! — не унимался Сагит.— А четыре дня назад где ты меня видела?

— Где же, скажите.

— А на медпункте, вот где! Не помнишь? Как ты можешь не помнить? Была там... с рукой. Я все видел! И как тебя привезли, и как тебя тот лечил. И ты меня должна была видеть, не слепая! Ишь, тоже, понимаешь, не ви-ищела...

Айслу молчала, посматривая на дверь. Она была смущена и напугана.

Вмешалась Асель.

— Ну, молодые люди, вас все-таки нужно познакомить,— скороговоркой затараторила она.— Это мой дедушка Сагит. Он окончил техникум, у нас работает. Спроси-ка, кто самый нужный человек в нашей пустыне? Каждый скажет — гидротехник! Вот он, Сагит, он и есть... самый нужный специалист в районе. А вот эта девушкица — Айслу,— тонко улыбаясь деверю, заметила Асель.— Она из аула Найманов, колхоз «Красная звезда», так, кажется?

— Да, так,— потупившись ответила Айслу.

— Вот там и живет вдова, тетушка Нурбубу, о которой... тебе столько говорили.

Туповатый и самовлюбленный Сагит наконец понял и разом преобразился. От радости у него дух захватило.

— Ой ли? Да так ли? Неужто та самая? — забормотал он, поворачиваясь то к Асели, то к Айслу, словно желая проверить, не шутят ли с ним. Глуповатый беспричинный смех выдавал его замешательство.

Айслу была неопытна в житейских делах, ей не доводилось иметь дело с такими ловкими пройдохами, как Асель. Но у нее всегда было предубеждение против сладкоречивых льстецов, и она насторожилась. В этих двух людях, невестке и девере, все ей не нравилось. Застенчивость мешала ей говорить с ними напрямик о том, что она смутно угадывала. Молча она поднялась и направилась к двери.

— Айслу! Куда ты? Милая моя! Куда ты собралась? — кинулась следом Асель.

Айслу увидела в дверях мальчика с рыжими вихрами.

— Баттал, ты ведь знаешь дом нашей тетушки Кульшат?

— Знаю, а что?

— Пожалуйста, сходи за ней. Скажи, что я жду ее здесь, пусть поскорее приходит.

Никто не успел и слова сказать, как Баттал выскочил на улицу.

— Спасибо вам за чай,— сказала Айслу Асели, словно извиняясь.— Мне уже пора... Мне надо идти...

У Асели было задумано оставить девушку ночевать, но после прихода Сагита это стало невозможно. Испортил дело жигит.

— Верно, верно, в темноте одной идти неловко,— проговорила Асель мягко.— Но ведь и Сагит мог бы тебя проводить. Разве он не проводит? Зачем же было старую тетю тревожить?

— Ничего, ничего, не беспокойтесь,— отозвалась Айслу, не отходя от двери.

Сагит, раздосадованный и все еще ошарашенный, заговорил, стараясь подзадорить гостью:

— Что же мы, воры-грабители, что ли? Чего ты так испугалась? — И, раздув свои широкие ноздри, он глупо оскалился, считая, что сказал любезность.

Айслу впервые прямо посмотрела в лицо Сагита. В ее больших ярко-серых глазах была откровенная неприязнь. Сагит сидел на ковре в развязной позе. Лицо мясистое, грубое, нагловатая улыбка... Айслу не хотелось ему отвечать, и она молча его разглядывала. «Кто же станет с тобой связываться?» — говорил ее открытый и холодный взгляд.

И под ее взглядом Сагит насупился. Узкие глазки его заплыли. Встряхнув кудлатой головой, он так стремительно вскочил, что чуть не перевернул столик с самоваром. Сопя, топоча сапогами, Сагит сбежал с крыльца и скрылся в темноте сада.

Тогда старуха мать, безмолвно наблюдавшая за гостьей и хорошо разглядевшая ее своеобразную красоту, забеспокоилась, подозвала Асель:

— Куда же пошел Сагит? Почему не проводил девушку? Может, у него срочное дело? — Видимо, ей хо-

телось загладить грубость сына. Видимо, она нашла, что это необходимо.

Асель тоже старалась поправить дело. Она утешала Айслу.

— Сагит вернется. Он обходительный молодой человек, в городе учился, приличия знает,— стрекотала Асель как сорока.

Айслу слушала ее со скрытым нетерпением. Надо было бы сказать этой старорежимной женге: ваша игра не удастся! Девушка глядела на миловидное лицо Асели, а виделась ей хитрая харя патриархального степного домостроя.

«Зачем я сюда пришла? — думала Айслу.— Как я попала к этим чужим неприятным людям? И не заметила, как дала заманить себя в ловушку. С ума я, что ли, сошла, пойдя за первой встречной женщиной на ночь глядя в незнакомый дом?»

Лицо Айслу порозовело от волнения, в глазах блестел горделивый свет юности. И Асель залюбовалась ею.

«Что за чудо девка! — думала Асель.— Давно не встречалось такой среди наших казашек. И как это никто до сих пор не прибрал ее к рукам! Просто безумие упустить ее и материнские сундуки из рук. Ах, до чего же нескладен Сагит! Куда его понесло?.. Коли хочешь на такой жениться, жизни не пожалей, увалень этакий! Уж так я ловко все устроила... Неужто не сможешь ее уломать?»

Была та глухая пора ночи, когда слабый с вечера электрический свет становится ярче и лампочка начинает сиять. Прибежал Баттал. За ним появилась Кульшат-апа. Войдя на веранду, она коротко поздоровалась с хозяевами и, обняв Айслу, поцеловала ее в лоб: пойдем! Старуха и Асель принялись уговаривать их оставаться поужинать. Но Кульшат отговорилась тем, что завтра рано вставать на работу. Она спешила увести племянницу. Она чувствовала недоброе. И дом этот был ей давно противен. Как сюда попала Айслу?

Вскоре после их ухода вернулся Сагит. Лихорадочно возбужденный, он тяжело переводил дыхание. Можна было подумать, что жигит душевно взъярен. На самом деле он попросту забежал к приятелю, продавцу кооператива, и для храбрости хлебнул стакан водки, на ходу закусив помидором.

— Ушла! Давно? — крикнул он.

Крикнула и Асель:

— Что же ты зеваешь? Наверно, они уж дома.

Сагит, круто повернувшись, сбежал во двор, вывел из конюшни гнедого и, вскочив на него, стал пинать в бока каблуками.

Ничего не подозревая, Айслу и Кульшат шли под деревьями вдоль улицы. Они уже подходили к дому, когда из-под старого ветвистого чинара, к которому был привязан конь, шагнул к ним коренастый человек. Он буркнул Кульшат «здравствуйте!» и, оттеснив ее, взял Айслу под руку.

Айслу отдернула руку и прижалась к Кульшат.

— Что вам нужно?

— Пошли вместе. Там договоримся. Я тебя провожу. Нарочно пришел.

— Спасибо, но мы уже дома. Идите-ка лучше и вь домой, — сказала спокойно Айслу, но Сагит опять схватил ее за руку.

Теперь Айслу не на шутку рассердилась.

— Что вам от нас нужно? Я вас не знаю. Уходите и дайте нам пройти.

— У меня к тебе слово есть, ба-альшое слово! — пьяно осклабился Сагит. — Слушай, тебе говорю, по няла? — И он бессмысленно засмеялся, дожнув в лицо Айслу запахом водки.

— Мне с вами не о чем разговаривать, — с отвращением ответила Айслу.

— А у меня вот есть! — нагло и злобно оборвал ее Сагит.

— Не трогайте меня. Уберите руки! — вскрикнула Айслу, отбегая от него.

Кроткая тетушка Кульшат возмутилась:

— Эй, светик, что ты за человек такой? Пошел с дороги прочь! К кому пристаешь?

Она заслонила собой Айслу. Но он стал попрежде дороги.

— У меня сло-о-во есть! Большое слово! Слышишь? Пока не скажу все, не уйдешь!

Айслу не хотела слушать. Она дрожала от гнева.

— Убрайтесь, вам говорят! Убрайтесь, бессовестный!

Сагит, мыча, оттолкнул Кульшат и схватил Айслу за талию, прижал к себе. Айслу с криком и плачем стала колотить его по груди, по лицу:

— Скотина, дурак! Пусти!

Тогда Сагит совсем потерял голову. Неожиданно для самого себя он выхватил из-за голенища нож и ударил Айслу в плечо.

— Поняла?

Айслу упала.

Крики Кульшат, звавшей на помощь, отрезвили жигита. Кажется, он сообразил, что сделал что-то непоправимое, и тут же бросился к своему коню. Но, убегая, он глухо, тупо бормотал:

— Все равно на тебе женюсь! Я тебя везде достану!

Рана оказалась неопасной, и в больнице Айслу не оставили. Утром Кульшат повела племянницу на перевязку. Затем Айслу пошла в райком комсомола.

Было еще очень рано, и она оказалась первой посетительницей. Секретарь райкома Ермекбаев торопился на хлопковые поля и выслушал Айслу стоя. Тут же он позвонил начальнику милиции.

— Прошлой ночью... возмутительное преступление... Ножом девушку... Представьте, молодой гидротехник Сагит Амиров. Как будто бы образованный парень, комсомолец, а поступил по-волчью...

Видимо, начальник милиции спросил, где сейчас пострадавшая.

— Да вот она рядом со мной.

Ермекбаев помолчал, согласно кивая головой, и положил трубку.

— Сейчас же вернись в больницу, попроси врача составить акт и отнеси его начальнику милиции. Мы этого дела так не оставим! Помни, что комсомол с тобою.

Поначалу дело Сагита Амирова приняло серьезный оборот. За молодым гидротехником пришел милиционер. Начальник милиции Жетписов, с виду суровый человек с нависшими бровями и стрижеными волосами, торчащими ежиком, строго допрашивал Сагита и собирался взять у него подписку о невыезде. Перед Жетписовым лежал медицинский акт, показание Куль-

шат, признание самого Амирова... Но тут раздался телефонный звонок. Звонил районный прокурор. Жетписов послушал его и положил бумаги в ящик стола.

Несколько дней Айслу прожила у Кульшат, ходила на перевязки. Когда плечо начало заживать, она уехала к себе в колхоз. Прощаясь с ней, Ермекбаев и Жетписов заверили, что обидчик ее будет сурово наказан.

Однако районный прокурор еще раза два звонил Жетписову, и Абильмажин, родной брат Сагита, постоянно беседовал со строгим начальником, а также с районным судьей.

И постепенно дело о нападении стало забываться. А по району поползли слухи... Поездка Айслу в поселок Жиделе и все, что с ней там случилось, представало в совершенно неожиданном свете.

Говорили, что между Сагитом, недавно вернувшимся из Ташкента, и Айслу был давний уговор о женитьбе. Она приехала в Жиделе повидаться со своим милем. Ночью у них было свидание, но из-за чего-то они поссорились. Влюбленный жигит, долгие годы хранивший верность невесте, рассердился на нее. К тому же немного выпил. Ну, и хотел попугать и нечаянно поцарапал ножом ей руку. Милиция и комсомол хотели было раздуть дело, но «большие люди» района, такие, как прокурор, на это не пошли и положили конец кляузам.

Кто дорожит честью девушки и жигита, не будет осуждать невинную размолвку с женихом и выдавать вспыльчивость за преступление.

Айслу не слыхала всех этих сплетен и небылиц. Но дошли они до Ильяса...

Бейsek, колхозник из «Красной звезды», частенько гостил в доме Асели и Абильмажина. А Ильяс захаживал к Бейсеку, покупал у него молоко, айран, а иной раз оставался на бесбармак. За бесбармаком и услышал студент, что говорили об Айслу, и до того развлновался, изумился, оскорбился, что не мог есть и, попрощавшись, ушел.

Только теперь понял Ильяс, что такое для него Айслу, понял, какую власть над ним она приобрела после двух случайных встреч и какая ему предстоит жестокая борьба с самим собой. Ныне он должен забыть ее

серые глаза, ее пышную косу, ее несравненные руки. Но легко ли забыть Айслу? Узнав, что она невеста другого, Ильяс не спал ночь. Он бродил по улицам аула, уходил в степь. Куда бы он ни шел, Айслу шла рядом с ним. Он видел перед собой ее лицо, освещенное чистым, задумчивым и нежным светом ее глаз, видел руку, обнаженную по плечо, и скомканный рукав блузки, которым она прикрывала грудь, видел то, что нужно было забыть, совсем забыть, стереть из памяти. Он вспоминал сдержанные, скромные речи Айслу и думал о том, как обманчиво подчас и то, что видишь, и то, что слышишь...

И лишь одно не приходило в голову студенту: то, что он еще незрячий, неразумный юнец, а Айслу очень нуждается в крепкой дружбе и надежной мужской опоре.

В ту самую ночь, когда Ильяс старался подальше уйти от самого себя, Айслу вспоминала его. Она представляла себе, как Ильяс узнает, что с ней случилось, как он спешит к ней, как встречается с наглым и презренным Сагитом, и у нее становилось тепло, ясно и хорошо на душе.

Между тем уборочная страда подходила к концу. Горожане собирались домой. Уложил свои вещи и Ильяс, но уезжать не хотелось. Он не находил себе места. Гнев, досада, тоска и нежность переплелись в его сердце.

Суета отъезжающих встревожила Айслу. Она вышла из дома и побрела по улице, с грустью глядя на парней и девушек, шедших с рюкзаками и чемоданчиками к автобусам и крытым грузовикам. Незаметно Айслу оказалась около школы и вдруг увидела Ильяса. Он странно посмотрел на нее, конечно, узнал, но лишь мельком кивнул ей головой, резко повернулся и ушел.

Ильяс заметил, что Айслу осунулась, в глазах тревога, но собственная боль помешала ему понять, что это значит. Он приписал волнение Айслу склоне с женой.

А Айслу подумала, что столичный молодой человек уже забыл ее, простую аульную девушку. В душе она осуждала его за это, но была горда и считала, что по-своему он прав.

«Кто я ему, чтобы он помнил меня? И кто он мне если уж на то пошло? Что изменится от того, как от меня поглядит — приветливо или сердито?»

И все же втайне от самой себя она тяжко обидалась на Ильяса, а с ним и на весь мужской род. И холодно было у нее на душе, когда она шла домой мимо школы, в которой располагался медпункт.

2

Стоя у порога своего дома, Айслу с грустью рассматривала то, что осталось от ее цветника.

Она посадила те самые цветы, которыми любовалась в Алма-Ате. Хороши были темно-красные бархатистые розы, но они давно отцвели. Только редкие стебли осенних астр еще поднимали пушистые шляпки, синие, розовые, белые. «Мы последние... Мы с тобой прощаемся...» — говорили они. Поблекла и листва на винограднике. Виноград снят, лозы пусты. Пора пышного цветения и обильных плодов миновала. В саду было тихо и грустно.

А с терраски дома доносился заливистый беззаботный смех Армана, младшего в семье. Он лежал на циновке и ловил губами тяжелую черную гроздь винограда, которую держал в поднятой руке. Это его забавляло. Мать подшучивала над мальчишкой, он смеялся еще пуще.

Подбросив горстку щепок в закипающий самовар и несколько мелко нарубленных полешек в летний очаг под котелок, где, булькая, варились мясо, Нурбубу заметила:

— Видно, ты не знаешь, сынок, какое слово было сказано одному казаху, который приехал из голой степи и так же вот, как ты, глотал виноград горстями...

— А что? Какое слово? Скажи! — Арман загодя давился смехом.

Мать мимоходом похлопала его по животу.

— «Ведь это же виноград, его едят по одной ягодке...» А он знал свое: «Ведь это же виноград, его глотают по сто ягод сразу. По одной штучке едят только урюк!» Ну, ему сказали, что урюк надо есть, разломив плод пополам. Он и тут не растерялся: «Разве урюк дыня, чтобы его делить?» Как видишь, и про-

жорливость делает человека находчивым, чего не скажешь о тебе!

Нурбубу часто рассказывала своим детям веселые и затейливые народные побасенки, как бы вызывая слушателей на спор и словесное состязание. И дочь и сын любили ее рассказы и дивились ее памяти.

— Вот что я скажу, мама,— ответил Арман,— этот казах был все-таки знающий, ученый человек. Не то что тот степняк, который сжевал стручок красного перца, приняв его за фрукт! Я бы и сам глотал урюк целиком, если бы не косточки. А виноград по ягодке пусть едят эти... городские... всякие там «ханумы»...

Айслу, улыбаясь, вышла из-за арки виноградных лоз.

— Мама, не позволяйте обжоре болтать, о чем он не понимает.

Арман закричал:

— А если у меня рот большой?.. Я уже мужчина!

— Фу! — шутливо сказала Айслу.— На верхней губе волосики растут... Того гляди, придется выщипывать.

И мать и сын переглянулись, довольные, что Айслу оживилась и балагурит вместе с ними.

Сумерки сгостились, но полная луна все ярче освещала сад. Нурбубу смотрела на дочь с радостью: «Ни одной красавице, самой луне не уступит!» — и с затянутой тревогой: «Что у нее на душе?»

Девушка была задумчива, печальна и не заметила, как мать принесла круглый столик на низких ножках, накрыла его скатертью, положила хлеб, баурсаки, а также сахар и непременный изюм, и летом и зимой подававшийся к чаю, поставила дымящееся душистое блюдо с пловом из баранины и утятиной. Айслу спохватилась наконец, побежала, принесла кипящий са-мовар и снова застыла в раздумье с чайником в руке.

По праву старшинства мать первая взяла с блюда горячку риса. Затем и дети принялись за еду. Мать невольно сравнивала их. Она думала о том, кто уже никогда не сидет за их семейный стол.

— Похожи вы друг на друга,— сказала Нурбубу неожиданно,— потому что оба в отца. Вся стать отцовская. Он был такой красивый, высокий, вот как будет Арман,— и она отвернулась, делая вид, что размеши-

вает плов на блюде. Слеза упала на горячий поднос и зашипела.

Айслу сказала тихо:

— Он был самый красивый, мам. Он был герой.

И Нурбубу, тронутая тем, какие слова дочь нашла для того, чтобы утешить ее, улыбнулась сквозь слезы, уже не скрывая их.

— Арман будет такой, как папа, — добавила Айслу, бережно обнимая мать, и сстроила веселую гримасу: — Но прославится раньше своим большим ртом!

— Отныне, раз хлопок собрали, я предамся покою и неге! — сказал Арман ей в тон.

— А я отныне день и ночь не подниму от книг голову, — горячо и серьзно проговорила Айслу, — пока не поеду в Алма-Ату сдавать на заочное на биофак.

Это было ее заветное желание, давно уже обдуманное в семье и тем более выполнимое, что все трое пострадали на хлопке и заработали много трудодней.

— Езжай и можешь ни о чем не думать, — с важностью заявил Арман. — В этом году я тебя сам всем обеспечу. Дам тебе денег, сколько захочешь, наряжу с ног до головы, как куколку!

Айслу насмешливо и восхищенно глянула на брата.

— Я тоже в этом году богатая...

— Расхвастались, — сказала Нурбубу с мягким укором. — Вы помните поговорку о том, кто чем хвастает?.. В Алма-Ате, на наше счастье, живет дядя Жакен, он Айслу что отец родной. Вот чем гордитесь.

Теплый лунный вечер, доброта матери, беспечность брата, казалось, рассеяли грустное настроение Айслу. Арман принес из дома спелую дыню, сладкую и сочную. Потом пили чай. Мать уже не торопила: «Спать, спать». Завтра не надо спозаранок подниматься на работу. Втроем они заработали полторы тысячи трудодней. Ни одна женщина в колхозе не собрала хлопка больше, чем Айслу.

Нурбубу посмеивалась, что пожилые матери, такие, как она сама, и те принарядились после уборочной страды. А уж молодухи! Накрутили себе модные прически, нацепили сережки, кольца да браслетки — радионьки побренчать...

— А вот иные мужчины, вроде нашего бригадира Баймата или тракториста Жунуса, дай им бог здо-

ровья, уже пьяненькие. Слоняются возле кооператива, едва на ногах стоят, и, конечно, около молочной фермы...

— Почему около молочной? — удивился Арман.

— Жены у них доярки. Видно, выпрашивают ссуду на выпивку. Ну и хорошо, что кругом веселятся. Я скажу, что и побаловаться не грех. Только бы не пьянство! Сквернословие такое — уши вянут.

Арман под вечер побывал в клубе, и его воображение поразила девушка из третьей бригады, Хадиша. Столько там было народа! И трактористы, и агрономы, и физкультурники... Даже певцы-куйши объявились. А Хадиша ни перед кем не оробела: заплела волосы по-узбекски в сорок пять косичек, вышла и давай петь песни и танцевать. Вообще все пели, как на Первое мая. Мимо девушек пройдешь — так духами и обдаст.

Айслу громко рассмеялась.

— Ой, мама, послушайте его! Косички подсчитывает... Он определенно женится прежде, чем я выйду замуж. На той, которая крепче душится.

Арман опустил голову, краснея, но плечи у него тряслись от смеха.

Так, смеясь, они стали готовиться ко сну во дворе. Хорошо спать в саду, когда утром надо пораньше проснуться. Будит тебя солнце, едва поднявшись над горизонтом, щекоча веки ласковыми лучами. Но еще лучше под открытым небом осенью, когда из темной синевы неба полная луна льет волшебный свет и словно манит и манит к себе в высоту.

Айслу кивнула Арману, и он вынес из дома одеяла и подушки. Одеяла шелковые, стеганые — ночи становились прохладными.

Айслу посередине постелила матери, повыше и попышнее, как было заведено у них с малолетства, а по бокам от нее — себе и брату. Они легли и тотчас уснули. В лунном свете Нурбубу походила на белую гусыню, распластавшую крылья над гусятами.

Айслу приснилось, что на нее навалился косматый вонючий черный медведь. От страха у нее перехватило дыхание, она не могла даже крикнуть. Медведь обхватил ее тело железными когтистыми лапами, и оно словно оледенело. Рывком он поднял ее и понес, волоча за край одеяло. Айслу проснулась и спросонья в

самом деле увидела темную лохматую безглазую медвежью морду. Потом душный запах винного перегара ударили ей в лицо, и она узнала Сагита.

Испуг, гнев, отвращение придали ей силы. Она пронзительно закричала, вырываясь:

— Мама! Арман!

Она билась, колотила Сагита кулаками и коленками, вцепилась ему в волосы, крутилась всем телом и вырвалась, но парень был много сильней и снова схватил ее. Хрипя, он бормотал одни и те же слова, прижимаясь мясистыми губами к ее ушам:

— Я люблю! Я люблю! Тебя люблю! — и тащил ее со двора.

— Мама! Ма-ма! Помогите...

Нурбубу и Арман не сразу поняли, что с ней, где она, — голос ее удалялся. Босая, крича, Нурбубу кинулась на улицу. Ноги ее подгибались. Арман обогнал ее и в воротах настиг Сагита. Прыгнув и схватив Сагита за голову, мальчик изо всех сил рванул ее назад. Но Сагит напряг свою бычью шею и, не выпуская Айслу из рук, потащил за собой и ее и Армана. Перед домом темнела трехтонка.

— Арман! Держи его, собаку! Люди! Соседи! — вопила Нурбубу.

Арман повис на спине Сагита, уперся ему коленками в поясницу, стараясь повалить. На мгновение Сагит потерял равновесие, и Айслу вырвалась и побежала. Сагит не смог ее догнать и рассвирепел, заревел, как зверь.

Сорвав с себя мальчишку, Сагит швырнул его на землю и, злобно ухая, стал молотить его тяжелыми кулаками и пинать сапогами куда попало. Машина, дом, небо — все завертелось в глазах Армана. Луна вспыхнула и закатилась. Сознание его погасло.

— Арман, миленький! — отчаянно вскрикнула Нурбубу и бросилась под кулаки Сагита, прикрывая собой сына.

Сагит ударил ее в грудь, она упала навзничь. Тогда Айслу подбежала и приникла к матери, забывая о себе. Сагит пнул кулаком и Айслу и вскочил на подножку грузовика, тяжело дыша, размазывая по лицу кровь.

— Давай гони!

Рухнув на сиденье рядом с шофером, он сам одной рукой начал крутить барабанку. Оторопевший шофер немо смотрел из кабины на женщин... Сагит оттолкнул его, резко подал машину назад, вырулил на дорогу и дал газ, не подозревая, какое страшное злодеяние совершил. Когда Сагит разворачивался, трехтонка задним колесом, слегка запнувшись, проехала по груди Армана. Мальчик лежал у садовой ограды и уже ничего не чувствовал.

— Он умер... умер! — закричала Айслу минуту спустя, трясущимися руками ощупывая тело брата, обнимая его голову, целуя бескровные щеки.

Крик Айслу поднял мать на ноги. Но она тотчас же опять упала. Арман не шевелился. Не дышал. Его лицо мертвенно белело в лунном сиянии.

С разных сторон сбегались люди.

— Убили... Раздавили... Насмерть... — эти слова Айслу слышала точно во сне, с которого все началось.

Подъехала санитарная машина, люди в белых халатах уложили Армана на носилки и увезли. С ним уехала и Нурбубу.

Остаток ночи Айслу пролежала на холодной земле, то неподвижно-оцепенело, то в безудержных припадках отчаяния. Несколько раз она впадала в беспамятство, и тогда все вокруг с визгом заводимого мотора неслось под огромные двускатные колеса, переворачивалось вверх дном и рассыпалось в прах. Временами она видела над собой лицо старой соседки, которую знакомые почтительно называли матерью. Старуха брызгала в лицо Айслу водой из пиялы, Айслу отталкивала пиялу и звала:

— Арман!

И все пыталась рассказать что-то бессмысленное: про то, какой у Армана был большой рот, как он считал девичьи косички и ценил запах духов...

Глава четвертая

1

Только что окончилось республиканское совещание животноводов. Оно проходило в двухсветном зале нового Дома правительства. В этом великолепном зале со-

временность удачно сочеталась с мотивами старого дворцового зодчества. Широкие проходы между рядами были устланы нарядными ковровыми дорожками. Люстры и массивные бра сверкали хрусталем в свет полуденного солнца, который обильно лился в незанавешенные окна. Но настроение в зале было непраздничное.

Первый ряд занимали делегаты юга. Секретарь обкома Алим Еримбетов и худощавый Ахан Султанов председатель Южно-Казахстанского облисполкома остановились в проходе, дожидаясь, когда из президиума спустится Карпов. Оба были невеселы.

— Боюсь, что погода и нам навредит,— глухо заметил Алим.

Ахан озабоченно покачал головой.

— Да... Особенно в двух районах — в Ноянском, Узакском. В Джамбулской области у самых Моюн Кумов начался падеж скота. А ведь они по условиям мало чем от нас отличаются.

— Да вовсе ничем! Говорят, не только февраль, но и март будет снежный и с ветрами.

— Придется, видно, тебе ехать в дальние районы Твой глаз хозяйствский. Если сам не выедешь, к отарам беды не миновать. Не спрявятся.

— Я тоже об этом думаю. Прямо отсюда махну и Моюн-Кумы,— сказал Алим.

— Пойдем поговорим с Карповым. А там прихватишь людей из Узакского района и сегодня же вылетай. Мы с ребятами из других районов еще денек-другой задержимся, тебе медлить нельзя.

Недобрая весть прозвучала сегодня на совещании: в некоторых областях гибнет скот. От одной этой мысли знобило в зимнюю стужу.

На юге было сравнительно благополучно: падежа не отмечалось. Но сейчас конец февраля, впереди март, а он грозил лютым морозом и глубокими снегами. Завоет, заметет буран и в каких-нибудь трое суток расправится в открытой степи с отарами, как разбойничья волчья стая. Если бы овцы были в кошарах, обеспеченных кормом, тогда не страшно. Но в двух районах, Узакском и Ноянском, не тысячи и даже не десятки, а сотни тысяч голов круглый год паслись под открытым небом, в песках, на подножном корму. Когда тра-

вы под снежными сугробами и свищет жгучий морозный ветер, овце худо.

Рослый моложавый человек с мягкими черными волосами над выпуклым лбом, секретарь Ноянского райкома Мурат Касымов, торопливо подошел к Алиму и Ахану.

— Что у вас слышно сегодня? — быстро спросил Алим.

— Получил телеграмму. Как будто чуть потеплело. Снег на песках тает. Но дороги по ту сторону песков занесло. Снегу по пояс.

— Ну, и как ты распорядился?

— Дал команду откочевать.

— Эх! Что же ты наделал! — с досадой воскликнул Алим. — Уж и сегодня дороги под снегом, а прогноз на март сам слышал какой... Как они до Карагату доберутся? А потом... Переваливать через горы — это же сущий ад. Весь скот в пути потеряешь.

— Куда же тогда с ним деваться? С середины марта овцы начнут ягниться. В песках ни для ягнят, ни для маток крова нет. Если до массового окота не доберемся к себе в район, ягнята, едва увидев свет, передохнут.

— Вообще-то это верно, когда все идет нормально. Но ведь в нынешнем году у нас и зима не зима, а одна беда!

— Ну, хорошо. Значит, не выводить скот из песков? Гибнуть на песках?

— Драться, — сказал Алим, — не тратя все силы на изнурительный перегон через Карагату. На месте выставить юрты, разбить палатки, городить кошары. Стать и не метаться. Все силы бросить туда. И окот овец проводить там же без паники. Уж больно ты, Мурат, любишь командовать. И что тебя разбирает? К чemu это?

Подошел Карпов. Алим коротко доложил ему о том, как распорядился Касымов. Нил Петрович с полусловом понял опасения Алима. И тут же подозвал секретаря Узакского райкома Есдаулетова, который по обыкновению держался поодаль от товарищей.

— У вас как? Узнавали сегодня о скоте? Слышали, что творится у соседей джамбулцев в тех же Моюн-Кумах?

— Так это у соседей, не у нас... — ответил Есдаулетов.

Он мялся, пожимая плечами, но его доклад был в общем успокоителен: скот перезимует без потерь.

— Касымов дал указание откочевать из песков, — продолжал Карпов. — Его отары пойдут через ваш район, если не ошибаюсь, поблизости от вашего совхоза «Конекент», так? (Алим утвердительно кивнул головой.) Так вот, пока ноги не доберутся до своих земель, пока будут на вашей территории, сможете вы оказать им помощь кормами, людьми, машинами? Сможете вы дать, если понадобится, войлочные юрты, палатки? — Синие глаза Карпова смотрели на Есдаулетова сурово-испытующе. — Говорите правду, только правду!

За три дня совещания Карпов уже не раз беседовал с Есдаулетовым. И хотя дела Узакского района пока не внушали тревоги, сам Есдаулетов, как и прежде, производил впечатление человека легковесного и не очень искреннего. Вчера и позавчера он твердо говорил Карпову: «О нашем районе не беспокойтесь. Коровы достаточно, скот упитанный. На песках снега нет. Все совхозы держат там своих овец в отличном состоянии». А сегодня, услышав, что в Моюн-Кумах выпал снег, Есдаулетов принял оправдываться: «Кто ж его знал, что так получится! Если в конце февраля и в песках будут снегопады, тогда уж не знаю... Скот далеко. Ему туда корм возить — хлебнешь горя!» И сразу обнаружились у него нужды и трудности, о которых прежде не слышали. Карпов понял, что главная забота этого человека — самооправдание, стиль — отговорки. Поэтому-то Нил Петрович требовал от него правды.

Есдаулетов, чувствуя, что увиливнуть не удастся, побагровел и словно бы рассердился:

— Откуда у нас в районе палатки? Палаток нет. Не хочу вас напрасно обнадеживать: чего нет, того нет. Мы вон на каком отрыве...

— Касымов еще на большем отрыве, — сказал Карпов. — Ну хорошо. Палаток у вас нет. А корма, сено, войлочные юрты и наконец машины... Пока не подспеем мы из области, что вы могли бы сделать для ногицев немедленно?

И Есдаулетов сдался.

— Кормов можем дать. Юрты тоже. Можем подготовить по пути откочевки пустые кошары. Машин у нас и у самих мало, но куда ни шло, поделимся...

Карпов обернулся к Алиму.

— Вот, запомни слова Есдаулетова. На первых порах он выручит. Остальное мы с Султановым берем на себя. А теперь ты с Касымовым и Есдаулетовым на аэродром. В Баскенте долго не засиживайтесь, езжайте в Кентау и скорее добирайтесь до чабанов. Все!

И он энергично потряс всем троим руки, а Алима дружески хлопнул по плечу.

Проводив их из опустевшего зала, Карпов и Султанов медленно пошли по длинным коридорам, которые вели к кабинетам секретарей ЦК. Карпов хмурился, покусывая губы.

— То, что я услышал в эти дни о положении скота, более чем плачевно,— сказал он так, будто винил Султанова.— Выходит, мы отдаем на произвол мороза и бурана многотысячное поголовье. Мы область, а в целом по республике, как я понимаю, дела еще хуже. Джамбулская область, Алма-Атинская, да и другие — все под угрозой. Что же это такое? Как можно мириться с такой беспомощностью?

Султанов слушал, опустив голову, поджав свои тонкие губы и недоуменно косясь на Карпова.

— А вы разве не знали, Нил Петрович? Не только в нынешнем году, и в другие годы завернет вот такая зима, и Казахстан, как правило, терпит урон в поголовье, подчас немалый.

— Ну и правило! — воскликнул Карпов.— Я думал об этом, был в Госплане, в Совмине, вчера у секретаря ЦК, везде толковал о вашем правиле... Но чем больше узнаешь, тем больше возмущаешься этой уже привычной беспомощностью, беззащитностью. А может, тут просто безрукость? Что же, и дальше мириться с таким положением? Далеко ли мы ушли от патриархального экстенсивного хозяйства? Ведь так-то в степи деды и прадеды, кочуя, пасли свой скот! Я просмотрел статистические отчеты... И двадцать, и тридцать, и шестьдесят лет назад одно и то же. Если снега глубокие, зима холодная, жди джуту. Джуут был вчера, есть сегодня и будет завтра. Значит, он непреодолим? На роду у казахов написан? Так, что ли?

Султанов сам не раз ломал голову над этим веко-
вальным вопросом и теперь проговорил с невольным
раздражением:

— Хотим мы или не хотим, на сегодня это так... Оттого-то наше животноводство и прыгает вверх и вниз. Сегодня хорошо, завтра плохо. Край велик; у нас и горы, и пески, тут пышные жайляу, там редкотравье, колючка, земля большей частью безводна. Степи бесконечные, пустыни, полупустыни... И вся наша практика держится пока на том, чтобы приспособливаться к условиям, а значит, и к капризам природы. Такова, собственно, вся Средняя Азия. Взять соседние республики — и там со скотом та же история, разве что у них климат помягче. Но и там с кормами скучно, и скот, по сути, кочует следом за травами. Приходится довольствоваться тем, что даст земля, другого выхода нет.

— Одним словом, тем, что бог даст! — с насмешливым вздохом сказал Карпов.— Нет, Ахан, с этим нельзя мириться, это невозможно терпеть! Нужны решительные меры. Надо их выработать, найти. Над этим должен работать мозг страны, партия, правительство, вся наша общественность, наука! А я до сих пор не встречал ищущей мысли, которая была бы занята и мучилась бы, скажем, таким вопросом: как живет чабан? А ведь это человек, который день и ночь, долгие месяцы мерзнет в бурянной степи со своим стадом, оберегая его от беды, в песках злополучных Моюн-Кумов, в том же Узакском, в том же Ноянском районе, пока мы здесь по три дня заседаем. Как подумаешь, каково чабану достается, сердце кровью обливается. Он не на бога — на нас надеется!

Султанов молчал, вдруг остро ощутив, как ему по душе все, что говорит Карпов, новый человек, зоркий человек... Султанову нравилось его неподдельное волнение, его партийная страсть. С таким секретарем — не спорить, работать не покладая рук.

2

На вездеходе М-72 ехали Жарасов, председатель Ноянского райисполкома, и Есентаев, второй секретарь райкома.

Минуло уже шесть часов, как они тронулись из Баба-Аты, пошел седьмой, а они только обогнули Красное озеро. Впереди расстилалась Мырзабаевская степь.

Дул резкий студеный ветер Карабас, что означает — Черноголовый. Так его прозвали в этих краях за лютость. Срываясь с высоты Карагату и Актау, он приносил на степные просторы беду.

— Ветер словно взбесился,— заметил Есентаев, на момент приоткрыл и тут же опять закрывая маленькое оконце машины.— Держит нас за... хвост.

Жарасов, сидевший впереди рядом с шофером, с досадой вздохнул.

— Черноголовый, будь он проклят! Открытая степь — тут ему раздолье.

— Видно, теперь уж погоды не жди до апреля.

— Кто ее знает! Пока что холод без снега. А вот повалит снег, тогда пиши пропало. Ветер буревой, к нему лицом не устоишь. Погонит овец, как пыль... В буран их не удержишь и не същешь потом.

Дорога по-прежнему не радовала. Следы ранее проехавших по ней машин то и дело терялись, и она превращалась в еле заметную тропу, местами покрытую жестким, как битое стекло, снегом, местами сплошным льдом. Хорошо еще, что дорога тверда.

В углах рта Жарасова резко обозначились морщины. Он раздраженно поглядывал на молчаливого шо夫ера.

— И что за чертовщина! Ехать каких-нибудь шестьдесят километров, а мы тащимся полдня, и конца не видать.

— Интересно, где остальные машины? — утомленно проговорил Есентаев.— Как бы они со своим громоздким грузом не застряли. Оторвутся от нас, отстанут...

— Уже оторвались, отстали,— буркнул Жарасов.

И все же М-72 не подвел. В сумерки путники достигли поселка Айгене, где находились штабы совхозов «Вперед» и «Колодец». Позади шла колонна из двенадцати грузовиков, которые везли совхозам сено. Еще на четырех машинах были погружены комбикорма и ячмень. Три трактора шли следом — надежная выручка. Этот караван снарядил и направил в пески

через Карагату только что вернувшийся из Алма-Аты секретарь Ноянского райкома Касымов.

— Корма идут,— сказал Жарасов начальнику районной инспекции Ержанову, который тоже оказался в Айгене.— А за остальное ты в ответе! Это по твоей «доброй вести», что на перевалах, мол, хорошо, тепло, районное руководство дало приказ откочевывать из песков. А сегодня что творится! Мы сюда ползли семь часов. Вездеход, машина! А овцам каково?

Лицо Ержанова, выдубленное морозом, было черно как сажа. Он засмеялся, щетина отросшие усы:

— Оказывается, не одна районная инспекция мне подвластна, но и Черноголовый! А я думал, он областного подчинения... Ну, если я ему начальник, будьте покойны, овцам у меня будет санаторий.

Скупо улыбнулся и Жарасов. В самом деле, теперь считаться, кто в чем прошляпил, поздно...

Наутро наметили созвать чабанов на совет и послали ездовых по отарам известить народ.

Тракторы Жарасов решил временно сосредоточить на перевале Таскомирсай. Здесь, хотя и с трудом, машины с грузом могли перевалить через Карагату. Это был правильный расчет. Все остальные перевалы и ущелья завалило снегом; они обледенели. Таскомирсай, единственный узкий проход, оставался дорогой жизни и надежды. Его надо было день и ночь защищать от выюги и гололеда, как крепость от упорного и сильного врага. Надвигались тяжелые дни. Отсюда начиналась забота о будущем. Поэтому и остались здесь Алексей Волков, Бекен Досов и Ешмат Садыков со своими гусеничными богатырями.

Ночью на Таскомирсае мела поземка и на пути к перевалу образовалось множество белых обледенелых бугорков. Поделив между собой двенадцатичасовую ночь, трактористы лишь к утру передохнули, но без задержки переправили через узкий перевал полтора десятка до отказа груженных автомашин. Утерли нос Черноголовому!

Жарасов и Есентаев в ту ночь спали плохо, то и дело их будил вой ветра, оконные стекла под его напором дребезжали. Лежа в темной комнате, Жарасов и Есентаев тихонько переговаривались. За полночь поднялся буран, и они содрогались при одной мысли

о том, что творится снаружи. Жарасов несколько раз вставал и подходил к окну. Там по-прежнему мело. С поздним рассветом встали, потирая саднищие виски.

Ясно было, что вызванные с мест люди приехали в такую непогоду не смогут. Теперь надо самим спешить в отары, чтобы узнать, где и в каком положении чабаны и их скот. Добраться до них можно было только верхом, и Жарасов и Есентаев сели на коней. В каждом хозяйстве по семнадцать-восемнадцать тысяч овец, всего примерно тридцать пять отар.

Объехать все отары вряд ли удастся, но упускать из виду нельзя ни одну. Взяв с собой проводников, разъехались в разные стороны, уговорившись вечером встретиться в Айгене.

Три часа спустя Жарасов увидел стадо совхоза «Вперед». Одним своим краем оно расположилось по белой равнине, другим взбиралось на пологую возвышенность. Жарасова встретил седобородый чабан Байтен. Серые глаза чабана казались бельмами на темном от зимней стужи лице. Подошел и молодой помощник Байтена Хусайн. Оба были угрюмы, неприветливы. Опытный Байтен и тот, видимо, растерялся.

— О чем тут спрашивать, товарищ! Сами видите: из песков ушли, а что тут нашли?

— Думали, доберемся до Карагату. Нынче и не мечтаем... — сказал Хусайн.

— Теперь, как говорится, вся надежда на небо. То ли смилиостивится, потеплеет, то ли вовсе доконает стужей.

Жарасов медленно ехал, огибая отару, приглядываясь к овцам. У полугодовалых ягнят были подтянутые животы, спины покрыты снежными нашлепками. Скопом они бросались на каждую былинку, торчавшую из-под снега. Больно и страшно было на них смотреть.

— Голодные, — заметил Жарасов, качая головой. — Совсем плохие, а?

— В песках-то они были хорошие, — возразил Байтен. — Но если их гнать по скудной земле, они долго не протянут. Обессилят, повалятся. Рук не хватит их нести.

Жарасов попытался приободрить чабанов:

— Будет вашим овцам подмога. За нами машины идут с полным грузом. Подкормим.

Байтен развелся, забеспокоился.

— Сено надо... Есть сено? Без сена овца никаких кормов не примет, сами знаете.

— Знаем. И сено везем. Не много ждать осталось. Завтра к вечеру доставим обязательно. Еще наш сосед Узакский район обещал пособить. В общем в беде не бросим... Ну, а сами-то вы как? Сами-то чем сыты?

— Пока что сыты,— уклончиво ответил Байтен.— На ночь горячего похлебаем, днем, конечно, всухомятку. Хлеб у нас есть...

— Не сыты, не голодны,— с усмешкой добавил Хусайн.— У меня, например, аппетит волчий. На морозе, знаете, чем сырее, тем теплее.

Жарасов понял, что теперь чабаны хотят ободрить его.

— Вам тоже кое-что везем: масло, чай,— сказал он, тронутый их скромностью.— Немножко еще потерпите.

— Потерпим. Это мы можем,— ответил Байтен и житро прищурился.— А вот к вам у нас одна просьба: раз вы начальство, нельзя ли дать указание, чтоб не было бурана? Совсем ошалел Черноголовый по воле аллаха. Опасаемся, как бы следом не ударил мороз. Есть, говорят, у вас такой колдун — погоду предсказывает. Как бишь звать-то его, сынок? — насмешливо спросил старик Хусайна.— Ты все о нем поминаешь.

— Прогноз... Прогноз погоды! — ослабился Хусайн.— Интересно, что он нам обещает, товарищ начальник?

Жарасов замялся, не решаясь отнимать у чабанов последнюю надежду.

— Что толку в этом колдуне! — сказал он, усмехаясь.— Путает часто. Неважно колдует... Но сегодня уже девятое марта. А мы не в Сибири живем, на юге. В прошлом году как раз в это время переваливали через Карагату. Снегу не было, теплынь. Может, несколько дней всего осталось продержаться.

— Значит, прогноз плохой? — с тревогой спросил Хусайн.— А, дяденька? Какой же прогноз?

Жарасов похлопал его по плечу, склонившись с коня.

— Держись, парень, держись. И вы, аксакал... Придет в свое время весна, а там и лето. Куда им деваться? А пока... нужны ваши стойкость, ваше мужество,— Достав блокнот, он записал имена обоих чабанов.— О своих делах каждый день извещайте товарищей в соседних отарах.

Затем, крепко пожав пастухам руки, Жарасов поехал дальше.

После полудня вьюга действительно сошлась и обнялась с лютым морозом. У Жарасова мерзли колени, стыло лицо. Отворачиваясь от жгучего ветра, он часто стаскивал перчатку и яростно тер ладонью щеки, нос, подбородок.

За день Жарасов побывал еще в пяти отарах. Их положение было, пожалуй, самым трудным. В них собирали овцематок, которым подходило время ягниться. Здешние чабаны и не пытались шутить, одни отмалчивались, другие угрюмо бралились. И стороннему человеку нелегко видеть, как мучаются беспомощные животные. А каково пастуху? О чем тут толковать, да еще на такой стуже?

Овцы тщетно искали укрытия на плоской равнине. Старший чабан горбоносый Исмаил шел за ними, ведя в поводу свою серую кобылу и со злостью дергая ее за повод. Жарасов понимал, что эта злость относится к нему.

— Нечего было трогаться с песков. Скоры у нас с приказами начальники, будь они неладны! А теперь кто из них будет отвечать за горькие слезы людей и скота? Что, если джут нагрянет? Одно дело, сегодня буран, а завтра вёдро. А если обледенеет степь, тогда что?

У Жарасова было такое чувство, будто старый пастух трепал его за уши, как глупого школьера.

— Вот район и послал меня... специально... — бормотал Жарасов, запинаясь от стыда.— Нас многих послали... и людей и машины... Везем корм для скота, еду людям. И сами мы, начальники, тут вместе с вами, как видите, от вас не отстаем...

— Ладно, посмотрим,— буркнул Исмаил,— какой будет прок.

Перед вечером Жарасов попил чаю в юрте у молодого чабана Доскея. Потом снова сел на коня и проехал

в степь. Везде он говорил чабанам, что идет помошь, что скот не бросят без подмоги, а людей без внимания. Вернуться в Айгене, как уговаривались с Есентаевым, Жарасов не смог. Увидев своими глазами, что творилось в отарах, решил остаться на месте. Поздно ночью он опять спешился у юрты Доскея.

Эта вторая ночь в степи была много хуже первой. Мороз и буран, точно соперничая друг с другом, час от часу крепчали. Снег валил без передышки и к утру плотной пеленой покрыл всю равнину и горные склоны.

На другой день по дороге в Айгене Жарасов объехал еще несколько отар и добрался до совхозной усадьбы только к полудню. Первым его вопросом было: сколько градусов? Есентаев ответил: "ночью тридцать два, а сейчас двадцать. По радио сообщили: обильный снегопад повсюду. Толщина снежного покрова даже на песках достигла сорока пяти сантиметров. Это было уже настоящим бедствием. Оставалось одно — кормить овец в кошарах. Изнуренные животные сами не могли добить себе корм из-под смерзшегося снега. Страшный лик джуна выглянул из неутихающей метели.

В тот же день на закате созвали в Айгене всех находившихся поблизости председателей колхозов и директоров совхозов Ноянского района. Эти люди, оставив семьи далеко за Карагату, всю зиму пробыли в песках со своим скотом. Вид у них был усталый, запущенный.

Завязался спор. Когда дела плохи, на слова урожай.

— Пески тоже под снегом, — сказал директор совхоза «Красный воин» Кызаев. — Некоторые дальновидцы честят нас за откочевку. Но при такой погоде и там не сладко. Не уйди мы оттуда, скот пал бы в песках, только и всего. Там мы были бы в полном отрыве от района, и как раз в момент окота. А сейчас мы хоть на шаг-другой, а все же ближе к дому, к своим корымам. По-моему, останавливаться не следует. Надо из последних сил, но двигаться к Карагату.

Люди поняли, что обстановка Кызаев не знает, и заведующий отгоном Алтаев зло рассмеялся.

— Хоть и идешь из песков, а песка, видно, не нюхал!

Председатель колхоза Болысбаев, пожилой человек с суровым лицом и колючим взглядом, добавил:

— И что такой человек зря болтается на отгоне! Что мелет попусту! В песках пусть и снег, а одна сторона бархана всегда голая. Там и кустарник. И траву скотина поищет — найдет. В песках и в буран овца укроется. Понятно вам, товарищ Кызаев?

Болысбаев махнул рукой и умолк, потому что сейчас он и сам не знал, что делать: и стоять на месте и идти дальше скоту зарез.

Жарасов с надеждой посмотрел на Алтаева.

— У тебя многолетний опыт, что ты скажешь? Какой у тебя план?

— А что толку в моем опыте,— ответил Алтаев с раздраженным смешком,— ежели у меня нет под рукой ни сена, ни других кормов? Кошары у меня, что ли, на каждом километре или какой иной кров? Или, может, тут, в Мырзабаевской степи, уже снег растаял, цветочки расцвели? Отары наши в глубоком снегу, как мухи в меду. Какой тут может быть план? Выход один: каждый чабан, каждая отара пускай потихоньку, сообразно местности и погоде пробивается вперед с той посильной помощью, что даст район.

Жарасов удивленно откинулся на стуле.

— Вот тебе на! Не по-хозяйски говоришь, Алтаев. Ты что же, думаешь, возглавляя такое хозяйство,пустить все на самотек? Так ты руководишь людьми? Что ты нам здесь доложил: впереди — степь, над головой — небо... Иди куда глаза глядят? Смеялся над Кызаевым, а сам?

— А что я могу? — со стоном проговорил Алтаев. — Кто мог ожидать, что на нашем благословенном юге в марте будет арктическая зима? Тут думай не думай...

— Да ты ни о чем и не думал! И думать не собираешься. Уперся лбом в стену и руки опустил. Ты что, запланировал погибель скота?

— Пока не доберемся до Карагату, все равно света не взвидим, — упорствовал Алтаев. — Что бы мы тут ни говорили... Надо двигаться к дому. Другого выхода нет.

— Что ты плетешь! — Жарасов в сердцах стукнул кулаком по столу. — До Карагату восемьдесят километров. За сколько дней ты собираешься довести скот?

— Дней за шесть, полагаю.

— Это сколько же в день — по пятнадцати километров?

— Да... В полдень дать отаре передохнуть и полегоньку... быстренько двигаться. Иначе весь скот здесь падалью оставим.

Болысбаев вскочил точно ужаленный.

— Слушать срам! — закричал он.— Овца в теплый летний день пятнадцать километров не пройдет, а он по такому глубокому снегу ее бегом погонит, голодную, сухую... Помешался человек с перепугу или от большого усердия, ей-богу. Бредит, как во сне.

Все набросились на Алтаева, словно обрадованные тем, что нашелся виноватый. И Жарасов услышал знакомые, привычные грозные слова о безрукости, безответственности, как будто касалось это одного Алтаева.

Жарасов переглянулся с Есентаевым, и они без слов поняли друг друга. Жарасов встал.

— Здорово же вы растерялись, начальники,— сказал он.— Вряд ли вы чему-либо научите чабанов. Того и гляди, и нас поведете на поводу... Завтра, однако, попытаемся собрать чабанов. Посмотрим, чему они нас научат.

И он распорядился — всем остаться ночевать в Айгене.

Подошел Алтаев.

— Видите, на кого я похож,— сказал он Жарасову с затаенной обидой.— И все такие... Тени, а не люди.

— Вижу,— ответил Жарасов.— Это я вижу... Не ожидал, Алтаев. Зря мы на тебя положились. Ты знаток песков, верно. А как вышел из песков, нет от тебя никакого проку. Тогда уж держался бы за пески руками и ногами... Неприятно так говорить, но и о смерти отца в конце концов сообщают.

Этот разговор слышал директор совхоза «Колодец» Жаканов, понял его по-своему и намотал себе на ус. Пробирающиеся накануне из-за Карагату через перевал Таскомирсай двенадцать машин с прессованным сеном занимали его воображение, а слова «не ожидал... зря положились...», «держался бы... руками и ногами» толкнули в самое сердце. Здесь много говорили о плаче, и у Жаканова возник свой план. Кивать на соседа и уповать на других не приходится. Надо действовать на свой страх и риск. Конечно, Жаканов не отважился

заявить об этом во всеуслышание, а только осторожнейко намекнул строгому начальству:

— В таком переплете нужна инициатива... от каждого... Раз корма привезли, подкормить скот хорошенко и... не ждать, пока овцы ягниться начнут. Смотреть вперед — на Карагану! А то в случае чего тот же Алтаев попрекнет: а я вам что говорил?

Жарасов досыта наслушался сегодня разных слов и не обратил на рассуждение Жаканова особого внимания. Жаканов крякнул — и тихонько удалился.

Настала третья ночь, морозная и буранная. Жарасов опять плохо спал, несмотря на тяжкую усталость. Едва задремав, просыпался, точно больной, от гнетущей тревоги и нетерпенья. Он вспоминал встречи в степи с добряком Байтепом, с угрюмым Исмаилом и другими чабанами. Стойкие, терпеливые, здравые мудрые люди. Истинные хозяева... Что они скажут? Как всегда в трудную пору, на них вся надежда.

Вопреки ожиданиям, несмотря на буран, чабаны собрались дружно. И с ними совет пошел и спокойней и живей, как будто даже веселей.

Начал нетерпеливый Болысбаев:

— Нам грозит джут,— сказал он с места в карьер без церемоний.— Проклятый Черноголовый может одного барана разорвать на тысячу кусков, а тысячу баранов превратить в одного. У людей весна, у нас снегопад, мороз. Лютый белый буран. Угроза потерять весь скот...

Жарасов стал называть стариков по именам:

— Вот вы, аксакал Косай... вы, уважаемый Жаксымбет... или вы, аксакал Даукен... вы, почтенный Садык... С давних времен всю жизнь вы пасли и растили в здешних краях овец. Всё видели и пережили на своем веку. И, наверно, бывали у вас и не такие переделки на пути из песков? Хотелось бы знать, что вы делали в таких случаях.

Жаксымбет, костиистый, худощавый, с впалыми глазами и реденькой бородкой на скуластом энергичном лице, бросил на Жарасова быстрый испытующий взгляд.

— Спрашиваешь, что делали? Это при баях, что ли? А ничего, сынок? Погибали...— И старик холодно усмехнулся.

— Вот то-то и оно,— добавил низкорослый плотный, круглолицый Даукен, суетливо ерзая на лавке.— Собачья жизнь была. Недаром говорили: «На баяхватит одного бурана». Эту премудрость, видать, Черноголовый на наших землях породил.

Но белобородый Косай неодобрительно заметил:

— Э, чего вспомнили! Черноголовый да Черноголовый... А наш сорокалетний опыт? Забыли? Иных премудростей не знаем?

И Садык поддержал его:

— Бай жили друг прстив дружки, каждый за себя. А мы люди одного желания. Бай иной раз от жадности, враждя из-за кормов, сами себе джут устраивали. А мы, если за дело взяться с умом да с согласием с добрым расчетом, глядишь, и отстоим скот от джуна. Нас вон сколько, а за нами и того более.

Для Жарасова и Есентаева в этих речах прозвучал голос народной силы и упорства. В отличие от начальников чабаны верили... В кого? В самих себя. Чего они хотели? Того, чтобы начальники работали дружно и надежно, как работают чабаны.

Белобородый Косай первый поднял голос благоразумия, дав понять, что растерянность страшней бурана.

— Раз нас позвали, мы должны сказать... И не позвали бы — все одно сказали бы! Делайте, что можете, что обещали, да поживей, а за нами дело не станет. Вот и весь сказ. Здесь было говорено, что байское хозяйство нам не пример. Этакой весной баю и его скоту оставалось смотреть в небо да с воем ножки протягивать. Нынче в степи Черноголовый тот же, а не бо другое! Вон из области сколько машин с кормами... Дойдут они до нас? Отвечаете: дойдут. Из района, говорите, спешат навстречу? Хорошо. Вы смотрите, кого мы здесь видим: и председатель исполкома, и райком, директора совхозов, председатели колхозов... — Старик прищурил зоркие глаза. — Раньше бы нас послушали, еще было бы лучше. Были бы мы, правда, подальше от дома, но не на полпути. Не к пескам, к людям ближе! Ну, сейчас не про то разговор, — строго поправил самого себя Косай, и в его великолдушии был для Жарасова больший урок, нежели в любом административном разносе. — К чему я веду? К тому, чтобы был порядок.

Раз вы на то поставлены, давайте нам каждой отаре маршрут — когда и куда прийти, где получить корм, чтобы скот у нас не голодал и из сил не выбивался. Чтоб ни толкотни, ни ругани, никакой другой дурости. Будет порядок — пройдем через Мырзабаевскую степь и джут нас за глотку не схватит. Отобъемся...

Чабаны согласно кивали головами.

Колючий взгляд Болысбаева смягчился. Он незаметно вздохнул с облегчением. Старый Косай сказал то, что мог бы сказать сам Болысбаев и должен был сказать Алтаев: духу не хватило.

— Товарищ Жарасов! Товарищ Есентаев! — азартно проговорил Болысбаев. — Берите бумагу, карандаш, пишите. Тут же, не сходя с места, расписание по дням: кто за кем пойдет. По дороге у нас не менее десяти кошар совхоза «Конекент» Узакского района. Десять кошар впереди! К ним подбросить сено, корма. Это наши оазисы. Прикажите, и мы, не толпясь, не мешая друг другу, двинемся все по очереди без паники. Одна отара уйдет после ночевки, а тут и другая... Подкормитесь, отдохнет в кошаре, гони ее дальше, давай место третьей... Но чтобы подвоз сена и кормов был бесперебойный. По-моему, такая мысль у чабанов. Верно я излагаю, аксакалы? — спросил Болысбаев, повеселев.

Ему ответили спокойно, рассудительно:

- Ладно говоришь!
- И мы то же в мыслях держим.
- Тут толковать нечего, делать надо!
- Не столкнешься — не сделаешь.
- Поживей бы поворачиваться, время окоту подходит.

— Сказано, хватит топтаться...

На том и сошлись. Сообща учли кошары и колодцы на пути, прикинули расстояние между ними. Жарасов записывал. Колодцев было достаточно, расстояние между стоянками не так уж велико. Кошар для ночевок, однако, маловато. А они особо нужны в буран овцам, огнившимся раньше срока. А главное, сено, обещанное узакским совхозом «Конекент»... Ну уж это дело Жарасов дожмет сам, какой ни будь скупердай Есдаулетов.

— Ближайшие к нашему району Арысь, Туркестан, Кентау, — говорил Жарасов, записывая, — должны вы-

слать палатки, по возможности войлочные юрты, продовольствие, корма. Подойдем к Карагатау, все это получим.

Под конец и чабаны расшумелись.

— Вот оно! — закричал Жаксымбет, скаля редкие зубы.— И впрямь вся область расщедрилась. Какой бай самого сильного рода Конраты мог этаким похвастать?

— А ты, видать, охоч хвастать,— насмешливо заметил старый Шонка, сверстник Жаксымбета.— В единий миг возненесся! Невесть что о себе возомнил, типун тебе на язык. Болтать, словами швыряться еще погоди. От таких гордецов вся беда.

Но чабаны помоложе были на стороне Жаксымбета, и он это чувствовал.

— Знаю свою силу, потому и горжусь,— сказал он, молодцевато подбоченясь.— Уж коли народ за мной, мне ли кланяться, молиться: боже, сохрани, боже, оборони! Пусть Черноголовый, хоть тысячеголовый! Наш скот, наш труд. Только ты, Жарасов, миленький, не обмани, исполни, что обещал. Не осрамись, сынок. Дай разок отличиться! Набьем пасть снегом Черноголовому, подлому ису.

Жарасов крепко пожал Жаксымбету руку.

— За вашу веру и отвагу земной вам поклон, отец. У вас сердце не мерзнет, руки не опускаются. Отогрели вы нас, чабаны. Спасибо. Будем драться. Так ли говорю, товарищи?

— Так, так... Пусть сбудется, как сказал! — загудели чабаны.

Затем Жарасов связался по радио с Баскентом. Там подтвердили: Карпов лично приказал первому секретарю Узакского райкома Есдаулетову дать сено. Следом неожиданно позвонил Есдаулетов: берите... Жарасов немедленно выехал в совхоз «Конекент». Есентаев и Ержанов готовили транспорт.

Директора Конекентского совхоза Абды Есенова Жарасов видел впервые.

Дом Абды стоял в центре селения в ряду новых одноэтажных домов. Хозяин ждал гостя и встретил его в дверях.

Пройдя через теплый коридор, они вошли в просторную, светлую комнату. Жарасов удивился: Абды и его жена люди городские, образованные, но в комнате, служившей столовой и гостиной, не было ни стульев, ни порядочного стола. На полу постланы кошмы, ковер, на почетном месте — стеганое одеяло. Особняком стоял овальный столик на низеньких, явно подрезанных ножках.

Абды познакомил гостя со своей молодой женой. Ее звали Камшат. Это была миловидная женщина с сияющими черными глазами. Непринужденно подав гостю руку, она учтиво поздоровалась. Видимо, Камшат привыкла принимать гостей. Ни слова не сказав мужу, она отправилась на кухню. И Жарасов отметил про себя ее стройную, легкую походку. Длинная коса, заправленная за воротник вязаной кофточки, свисала из-под нее.

Лица молодых хозяев, казалось, дышали безмятежным покоем. После стужи и тряски по бескрайней снежной степи, после нетопленных черных юрт и приземистых саманных домиков с подслеповатыми оконцами дом Абды казался теплым, ласковым гнездом. Этот дом напоминал Жарасову родной район, его собственную семью, и будничная повседневность мнилась ему сейчас праздником.

В громоздких черных валенках с галошами, в больших рукавицах, в стеганых брюках и фуфайке Жарасов чувствовал себя неловко. Его и без того смуглое лицо, обожженное ветром и морозом, выглядело чумазым. Он забыл, когда брился в последний раз. В смущении он скинул шапку; всклокоченные с проседью волосы в беспорядке рассыпались по лбу и вискам. Но хозяин сумел рассеять его смущение. Рослый, плечистый Абды нравился Жарасову. Его скучающее лицо потемнело от зимнего степного загара, а уши и шея белели, не тронутые солнцем. И хотя с виду Абды и Камшат были такие разные, они чем-то неуловимо напоминали друг друга. Наверно, тем, что оба были красивы, молоды и счастливы.

Абды оказался дальним человеком. Он сразу расположил к себе Жарасова открытым дружелюбием, прямотой и чуткостью.

— Все знаю. Есадаuletov предупредил, и из Бас-

кента вчера звонили... Конкретно, сколько тонн сена вам нужно?

— Мы просим сто пятьдесят.

— Чьим транспортом будете возить?

— У нас есть двадцать машин и семь тракторов Справимся, я думаю, сами... Только вот насчет кошар боюсь, их не хватит. Запросили из области палатки Но если наши овцы начнут ягниться, могли бы вы развернуть хоть по десятку юрт у каждой кошары — ягнят укрыть?

— Не то что десяти, и пяти не найдем. Нет у нас кошмы. Может, Есдаулетов возьмет в других совхозах?

— Ну, а как с кошарами?

— Кошары нам самим нужны. Наш скот тоже выходит из песков... Сколько мы сможем вам уделить? Самое большее половину.

— Понимать-то понимаю. Но думаю так: чем скорее наши отары пройдут, тем скорее кошары освободятся для ваших. Так что уж вы дайте нам побольше...

Абды принес карту района и расстелил ее на овальном столике. Он обвел карандашом обширные пространства Мырзабаевской степи, по которой шли дороги от песков к Карагату, и стал отмечать местоположение кошар. Жарасов внимательно следил за карандашом Абды и радостно восклицал, когда расстояние от одной кошары до другой оказывалось не более пяти километров, а когда перегон тянулся на десять-двенадцать, с огорчением качал головой. Он записывал в свой блокнот, где расположены кошары, — к каждой предстояло возить сено. Затем, не тряся лишних слов, Абды написал приказ по совхозу — выделить с каждой базы по пятьдесят пудов сена — и положил этот приказ на столик перед Жарасовым.

Появилась Камшат с самоваром. Жарасов, довольный тем, как удачно складывалось дело, долго и с наслаждением пил горячий душистый чай. Камшат молча угощала гостя, лишь изредка вполголоса отвечая на вопросы мужа.

— Ты что же задумала? Одним чаем путника на мороз проводить? — пошутил Абды.

На лице Камшат заиграл легкий румянец. Приветливо улыбаясь, она ответила:

— У меня и мясо варится. Хочешь выставить же-
ну перед гостем скупой, жадной?

— И ленивой,— сказал Абды.

Но Жарасов уже насытился горячими лепешками и баурсаками в масле.

— Мясо до другого раза... Надеюсь, мы еще уви-
димся. А пока я благодарю хозяйшку и с вашего раз-
решения поеду.

Вечерело. Жарасов поспешил в обратный путь.

Вернувшись в Айгене, он вместе с Есентаевым и Ержановым составил подробное расписание движения отар и в ту же ночь разослав его по отарам.

Наутро четырнадцатого марта внезапно потеплело, снег быстро размякал, и его покров за один день стал тоньше на десять-пятнадцать сантиметров. На пригорках затемняли влажные проталины. Кое-где овцы сами добывали себе корм из-под снега. У чабанов посветлели лица. Вчерашние страхи и сомнения таяли вместе со снегом.

Ноянские колхозы и совхозы начали откочевку к Карагату по плану, присланному Жарасовым. Целый день в степи было сырь и безветренно. Проталины расползались, увеличивались, и овцы на ходу щипали низкорослые травы, торчавшие из-под снега. К вечеру головные отары достигли первых кошар.

А в ночь опять ударили жестокий мороз. Ртуть в термометрах опустилась до тридцати семи градусов — невиданная на юге стужа! Добро еще, что не было нового снегопада.

Ночью пришла дурная весть: сена на двух ближайших базах не оказалось. Посланные туда машины вернулись порожняком, их погнали на дальние базы, километров за двадцать, а оттуда они не пришли. Без сена овцы никаких других кормов не ели. Голодные и изнуренные дневным переходом, они обессилили, двигаться дальше не могли. Да и кошар не хватало, многие отары остались под открытым небом, на лютом ночном морозе.

Услышав эту весть, Жарасов и Есентаев вскочили с постелей, будто им насыпали льду под бока, охваченные предчувствием неминуемой катастрофы. Теперь начнется падеж. Немедля они бросились поднимать шоферов. С трудом отогрели и завели машины. Не до-

жидаясь рассвета, двинулись на вездеходах к дальним базам. Колонна грузовиков и тракторов с протяжным гулом окунулась в ночную мглу. Хорошо знающие местность проводники показывали дорогу.

Первым Жарасову попались на пути две отары колхоза «Красный воин». Их вели участники совета чабанов Шонка и Даuletбек. Узнав Жарасова, они с горечью показали ему своих овец.

Овцы стояли смирно, опустив головы и тесно прижавшись друг к другу. У всех были впалые бока, спины покрыты смерзшимся снегом. Жизнь, казалось, еле теплилась в них. Желто-серые глаза безнадежно глядели сквозь блеклые ресницы.

Перед овцами на снегу желтоватой лентой были насыпаны ячмень и жмыхи, самый питательный для них корм. Слезы досады, боли блестели на глазах пастухов. Люди выбились из сил, пытаясь понудить овец есть... Ни одна не притронулась, не лизнула, не подобрала ни зернышка, хотя голодная смерть вползала в брюхо.

Морщнистое лицо старого Шонки было искажено страданием. В голосе мольба.

— Будь они прокляты, ихние причуды... Что за скотина! Говорю: «Грызи, дура, шкуру свою спасешь». Сую ей в рот, даю понюхать — фыркает и бросает. Плюет как отправу. Стоит вот, подыхает, коленки подlamываются, а только что не говорит: «Без сена есть не буду!» Ночь, мороз, ни крова, ни пищи... Светик Жарасов, пропадаем. Счастливый тебе путь, вези поскорее сена. Только сена, больше ничего не просим.

Даuletбек сквозь зубы сказал, что сегодня за ночь у него пало шесть двухгодовалых овец.

— Целый год мы их пасли с великим старанием, и зиму и лето. А теперь все прахом. Жаль овечек, вот как жаль, да и себя жалко. За что же такое наказание? Когда овцам плохо, я спать не могу. Лежишь на кошме, холодной, как волчья нора, с боку на бок вертишься. Мороз спину дерет, а думки голову... Если сможете, дай вам бог удачи, нынче же возвращайтесь. Пока овец сеном не накормим, дальше гнать не будем, нельзя. До той поры я с места не тронусь. Тут с ними и лягу...

— И я тут лягу, если не привезу,— сказал Жарасов.

На пути к отрогам Актау встретились еще три отары, и те не могли идти, дожидались сена. Жарасов говорил чабанам то же, что Даулетбеку.

На базе сено было... Его грузили в авральной спешке и шоферы, и проводники, и начальники, и все же, когда тронулись в обратный путь, время подходило к полуночью. Вездеходы, оторвавшись от колонны грузовиков, ушли вперед. И вдруг небо замутилось, потемнело. Солнце словно бы гасло... Густо повалил снег. И вот уже замел, закрутил, заплясал белый буран. Снег хлынул со всех сторон со звериным воем, потом с гулом землетрясения. И не стало видно ни неба, ни земли. Сплошной жгучий вихрь свирепо крутился перед глазами. А мороз крепчал и крепчал, схватывая снег, как бетон. «После оттепели... — думал Жарасов, — ледяная кольчуга обнимет всю степь. Джут!»

Вездеходы медленно пробивались вперед. Дорога терялась, держали направление почти на ощупь. Чтобы не потерять друг друга, шоферы непрерывно сигналили. Снег становился все глубже, ехать было тяжело. То и дело останавливались, пока наконец головная машина не уперлась в высокий сугроб и не стала окончательно, мотор заглох.

Где-то позади в белой бездне бурана затерялись грузовики с сеном — с ними уже никакими сигналами не связаться. Вездеходы застряли на плоскогорье Буркитты. Пытаться вести их дальше вслепую по затяжному каменистому спуску было опасно. Жарасов Есентаев и Ержанов с двумя проводниками решились идти пешком искать ближайший аул. У шоферов были еда и овчинные тулуны. Собравшись в одной машине, они остались пережидать беду.

Неподалеку от дороги проводники рассчитывали найти отделение совхоза «Конекент». Натянули ушанки до бровей подняли воротники и зашагали...

Идти было не легче, чем ехать. Ноги вязли в сугробах. Куда ни повернись, жег и слепил снег. Сквозь буран даже лучи солнца не могли пробиться. Трудно было понять — день сейчас или ночь? Спина на ходу взмокла от пота, лицо нестерпимо щипало. А примешь-

ся растирать скулы — пальцы горят, концы их колет словно иголками, тыльная сторона ладони дереве неет.

Заиндевевшие от собственного дыхания путники упорно шли и шли, не замечая времени, пока не насткнулись на громадный черный, словно облизанный ветром камень. Проводник, шедший впереди, замахал руками.

— Это утес Космурун,— закричал он Жарасову: ухо сквозь вой и гул бурана.— Правильно идем. Три километра осталось.

Жарасов изумился.

— А сколько мы прошли?

— Тоже... примерно... три.

Жарасов осветил фонариком часы и чертыхнулся. Возможно ли это? Если верить стрелкам, уже около четырех часов они на ногах! А впереди еще стольк же. Этак можно и не дойти.

Жарасов закурил, но табаку хватило на две-три затяжки, ветер раздул огонь и в несколько секунд сжег папиросу. Жарасов вспомнил, что ему довелось пережить за три года на фронте. Был случай, он горел в танке. Неужто теперь замерзать? Нащупав в темноте плечи Есентаева, Жарасов тряхнул его, хрюплю крича:

— Помнишь войну? Держись, пехота!

Есентаев тоже немало пошагал по фронтовым дорогам и в дождь, и в снег, и в зной. Полтора десятка лет назад он был добрым солдатом, носил на себе станковый и миномет. Его дюжие плечи принимали любую тяжесть.

— Только бы не заблудиться,— закричал он,— а ноги пойдут...

Жарасов подтолкнул проводника.

— А ну, давай жми. Шире шаг!

И опять потянулся час за часом, километр за километром на стуже, в кромешной мгле бурана. Все чаще то один, то другой из пяти путников падал, отлевался, поднимался. На исходе седьмого часа добравшись наконец до жилья.

В доме аульного завмага уже собирались ложиться спать, когда в него ввалились незваные гости. Судя по мрачным, изможденным лицам, их можно было принять за злоумышленников, если бы они держались на

ногах. Но они расселись и разлеглись на полу, едва переступив порог.

— Ой-бай-ау! Кто такие? Что за люди? — испуганно залопотала хозяйка, маленькая женщина, одетая в казахский бешмет и большую белую шаль.

— Тише! Не вопи! — прикрикнул на нее с высокой кровати муж, усатый, с кирпично-красным лицом.— Видать, не чужие...— И уставился на одного из проводников.— Э! Никак Жуматай? Так и есть, он. Что это с тобой, брат? Не узнать...

Жарасов и не помнил, как запел, закипая, ведерный самовар, как отпаивали его и товарищей густым огненным чаем. Только после пятой пиалы он обрел дар речи.

— О-пыр-ау, вот уходился, ни говорить, ни шевелиться мочи нет. Не знаю, я это или не я... Есентаев, как у тебя язык, оттаял? А у тебя, Ержанов, не отмерз? Не удивляйтесь, если я на полуслове засну.

Но ни он, ни другие не уснули до тех пор, пока к вездеходам и машинам с сеном, оставшимся в степи, не отправились на выручку во главе с энергичным завмагом люди на сильных конях.

Спал Жарасов мертвецким сном. А чуть свет, хотя от усталости ломило все кости, вскочил и поднял других.

Верхом Жарасов доехал до ближайшего телефона в Сарыбастау и позвонил в Баскент. Говорил он с Алмасбеком Жайлыбековым, третьим секретарем обкома, и, ничего не скрывая, сказал ему всю правду.

— Буран, дороги никуда, снега по пояс. Скот истощен. Чабаны просто плачут... Вот-вот начнется массовый окот, а кошар для ягнят обессилевших маток не хватает. Единственное спасение сейчас — это палатки, палатки! — надрываясь кричал в трубку Жарасов.

Алмасбек нарочно спокойным голосом ответил, что обкому положение известно, в район послан второй секретарь обкома Алим Еримбетов, идут тракторы, бензовозы. Алим уже собрал палатки для обоих районов, терпящих бедствие. А пока обком просит всеми силами беречь скот, не допустить падежа.

Этот разговор, а главное, уважительный и сочувственный тон секретаря приободрили Жарасова. Он вернулся в Айгене, довольный тем, что не свалился

с ног и сделал все, что должен был сделать. Но в Айгне его ожидал новый тяжкий удар.

Директор совхоза «Колодец» Жаканов, не считая ни с чем и ни с кем — ни с советом чабанов, ни с районным руководством,— своей властью и вразрез с расписанием Жарасова приказал своим отарам немедленно сниматься с места и за четверо суток достичь перевала через Карагату, в полтора раза быстрей, чем планировал накануне Алтаев. Скоту этого совхоза было завезено прессованное сено на первых двенадцати грузовиках. К тому же и оттепель подоспела, законная южная оттепель... Вот Жаканов и решил отличиться: проявить живую инициативу и вырвался со своим отарами из общего расписания далеко вперед.

Чтобы семьи не мешали пастухам, не отвлекали и от дела во время перекочевки, Жаканов распорядился свернуть юрты и срочно перебросить их вместе с жнами и детишками в район на тех самых двенадцати грузовиках, которые привезли сено. Для такой благой и боевой цели он не побоялся самовольно захватить машины, которых ждали с сеном в других хозяйствах: Шоферов он сумел уговорить — это народ покладистый, свой...

Теперь, как Жаканов считал, чабанам негде буде отлеживаться и не придется заботиться, скажем о драх для юрт и прочих домашних пустырях. И никто ничего не помешает чабанам денно и нощно гнать овец домой, домой! А чтобы заставить овец идти, он придумал везти перед каждой из пятнадцати отар сани, груженные сеном. Овцы побегут за санями, чабаны, саженные сухим пайком,— следом за овцами, и за четвере, от силы пять дней прибудут на место.

Все у Жаканова в голове получилось складно, логично, умно. Погода, конечно, со дня на день будет улучшаться, а всякие там прогнозы — досужая болтовня одни домыслы. Тем более что своей метеостанции у узакцев нет, а все говорят, что в марте обычно в Мыңзабаевской степи снега не увидишь. Первая оттепель и за два-три дня сугробов как не бывало! В общем-то хорошо, что в нынешнем году обильные снегопады — будет в достатке вода для овец.

Жаканов полагал, что он намеком, но достаточно ясно предупредил Жарасова о своих намерениях и даже получил его молчаливое, но недвусмысленное одобрение. Не всякое дело оформлять на бумаге за подписью и печатью... Жаканов верил, что выиграет, а победителей не судят. С какой стати, в самом деле, ему тащиться в Карагану вместе со всей массой ноянского скота, бедовать с безрукими, безынициативными товарищами в Мырзабаевской степи! Кто посильнее, кто посмелее, тот пусть и изворачивается, не оглядываясь на слабеньких и растерянных. Свое хозяйство Жаканов считал сильным, а себя смелым.

Внезапный мороз и свирепый буран опрокинули Жаканова на лопатки. Пятнадцать его отар увязли в сугробах, точно в яме, вдали от жилья и дорог, вдали от кошар. Скоту худо, а чабанам, юрты которых увезли вместе с семьями,— вдвое. Ни себя, ни ягненка, ни ослабевшую матку не оттогреешь в голой степи в буран. И нарочно не придумаешь положения отчаянней!

Уже глубокой ночью Жарасов и Есентаев сели на коней и поскакали на Тасбулакскую ферму Жаканова. Ферма... Где она? В ста километрах отсюда. А здесь белая пустыня. Овцы были донельзя истощены, несмотря на подкормку сеном, чабаны жили под открытым небом, ели закаменевший хлеб, сосали лед вместо воды, о чае могли только мечтать. Мороз стоял под тридцать градусов. Ветер валил с ног. Не жизнь — мука.

Подъезжая к отаре, Жарасов готов был от стыда провалиться сквозь землю. В свете фонаря, в мелькании снега он различил высокую фигуру чабана, опиравшегося на длинный посох, и узнал старого Косая. Чабан был оранжевом овчинном тулупе, в черной мохнатой шапке, нахлобученной на брови. Жарасов спешился и почтительно протянул ему руку. Старик бросился навстречу.

— Пропадает скот, Жарасов-светик! Ну чем они, бедные, дорогие мои овечки, виноваты? Зазря пропадает такое богатство...

Жарасов пригляделся: крупные слезы катились из выцветших, блеклых глаз пастуха и застывали сосульками на щеках и бороде.

— Ох, как трудно-то, как им трудно, овечкам, посмотри, сынок.

— Вижу, отец. Люди как? Тулупы у всех? Не замерзнете?

— Кто его знает! К зиме вроде все приоделись. На что я старик, шестьдесят пять лет, а мерзнуть не собираюсь. Десять дней пояса не снимал, да разве об нас речь? Потерпим. Скот спасать, овечек! Они без тулупов...

— Ох, Косеке, ой! — простонал в ответ Жарасов и больше не мог вымолвить ни слова.

А Косай, не дожидаясь расспросов, сам кратко идельно доложил Жарасову обо всем, что того интересовало. Показывая в степь, туда, где затерялись отары его товарищей, Косай поименно перечислял старших чабанов, их подручных, называл перевалы, высотки, лощины, которые им предстояло преодолеть на избранном Жакановым несуразном пути. Жарасов наскоро записывал, запоминал, мысленно прикидывая, что теперь следует предпринять.

— А Жаканов где? — спросил Есентаев.

— Где ж ему быть? Наверно, бедный, уснуть не может, пьет чай. Мы его не видели.

«Неужели этот барин сейчас в Айгене?» — думал Жарасов на обратном пути, дрожа от ярости, погоняя усталого коня.

Да! Жаканов был дома на базе! Увидев его под железной крышей, в тепле, по-домашнему разутого и, конечно, за пиялой чаю, Жарасов задохнулся от негодования. Не приняв протянутой Жакановым руки, кривясь от отвращения, Жарасов думал о том, что мог бы сейчас этого человека ударить.

— Стыд и совесть у тебя есть? Или ты не человек вовсе? — проговорил Жарасов вне себя. — Кого ты обманул, что выгадал? Всех обокрал, и себя первого! Ты же голосовал за наш общий план! Почему не сказал прямо, как мужчина, что в твою дикую башку взбрело? Ты видел, что ты натворил? Видел своими глазами? Восемь тысяч поголовья, тридцать чабанов в буран и мороз в чистом поле без крова. Не только скот, люди у тебя на волоске от гибели! Это тебе известно?

Вместе с Жарасовым в дом вошли еще Есентаев и Ержанов. И к удивлению всех троих, Жаканов вдруг погрозил Жарасову пальцем.

— А я... а я вам говорил! Э! Я тогда еще... на первом совещании... намекал... Но не я же мороз-буран организовал, не я! А если бы я проскочил, вам же легче было бы...

Жарасов сбросил полушибок и молча закурил, не глядя на Жаканова, и уже не слышал, как тот странно объясняется с Есентаевым и Ержановым. Докурив, Жарасов связался по радио с Баскентом.

К аппарату подошел Карпов. Жарасов говорил с ним без обиняков.

— Зашились, Нил Петрович... За свои ошибки наказаны, как говорится, не сходя с места... и сверх головы... Беда, Нил Петрович! Своими силами не спрашивайся... Слышали мы, едет к нам товарищ Алим Еримбетов. Где же он? Когда доедет? Больше вопросов не имею...

— Понимаю вас, понимаю,— сказал Карпов. Голос его показался Жарасову жестким.— Дела наши такие, что не только область, вся республика сегодня думает о нас, действует. Алим Еримбетов был у вас в районе налегке. Теперь едет с грузами. И он сам, и машины, и грузы — ваши, как только техника к вам прорвется. Но и вы рук не опускайте. Ошибки подсчитаем после. Не нравится мне вот что: много говорите о скоте, и это понятно, мало о людях, и это непонятно. Помните, Жарасов, самое дорогое для нас — жизнь, судьба чабана. Сейчас, в дни джуата, у всего народа на виду, какой герой и какой человек чабан! Говорю это вам не для красного словца. Берегите людей. Нам с вами отвечать по всей строгости закона, если, спасая скот, погибнет чабан.

«А если... председатель райисполкома?» — мысленно спросил Жарасов, вспоминая, как семь часов шел с товарищами сквозь буран.

— Чабан! — повторил Карпов, словно угадывая его мысли.

На следующий день мороз еще держался, буран не затихал. Машины увязали в снегу по кузов, и тракторы слабо им помогали. Сено и корма доходили до скота жалкими крохами. Жарасову доложили, что за сутки в каждой отаре пало от семидесяти до ста овец.

Разговор с Карповым не шел из ума Жарасова. На один вопрос Карпова Жарасов не мог ответить: «Что

там случилось с директором «Конекента» Абды Есеновым?»

Никак не ожидал Жарасов, что дельный и милый Абды окажется очковтирателем и пошлет машины за сеном туда, где сена не было. Это походило на вредительство. Скот словно подкосило; с этого и начался падеж....

А между тем держался Абды странно. Он не крутил и не оправдывался, как Жаканов.

— Я виноват, я виноват,— говорил он, не глядя Жарасову в глаза.

После разговора с Карповым Жарасов опять пошел к Абды. И тот наконец открылся:

— Стыдно вам сказать... но я знаю, кто и зачем эту подłość подстроил. Где не было сена? На базах, где братья Жанаевы?

— Да, как будто.

— Если бы на вашем месте был Карпов, он бы все понял...

— Карпов? Он был у вас?

— Да. Осенью.

Абды взглядом показал на свою жену.

— Один из братьев Жанаевых, младший, имел виды на Камшат. Но она выбрала меня. С тех пор они нам мстят. Как видите, женский вопрос.

— И вы молчите? — возмутился Жарасов.— Гнат склочников из совхоза поганой метлой! Или у них «рука»?

— Конечно,— с горечью ответил Абды.— Но главное... главное — наш секретарь райкома Есадаулетов. Он считает, что у нас, в Узакском районе, склоки нет. Никаких дрязг и вражды. Полный ажур.

Жарасов задумался. «Чем же эти темные Жанаевы,— спрашивал он себя,— отличаются от тех сутябаев, которые сами себе устраивали джут?» Но вслушавшись, ничего не сказал. И в Ноянском районе встречалось подобное, если уж смотреть правде в глаза...

В тот день была, однако, и радость: в районный центр Узункурган прибыл уполномоченный обкомом Алим Еримбетов с шестьюдесятью тяжело груженными автомашинами.

Самолет ЯК-12, пролетев над склонами Карагату, словно повис над унылой белесой степью, тянувшейся от гор к далеким пескам. В тесной кабине были двое — Алим Еримбетов и Жарасов. Они летели к отарам совхоза «Колодец». Молодой летчик украинец Петро, которого все звали на казахский манер по имени, часто снижал самолет и, выключив мотор, планируя, пристально вглядывался вниз, как бы прицеливаясь для посадки.

Наступило двадцатое марта, овцы начали ягниться. Теперь о том, чтобы двигаться вперед, нечего и думать. Надо было ставить палатки для маток и ягнят. Безде, и в обкоме и в районе, только и слышно было: «Палатки, палатки!»

Трудней всех доставалось пятнадцати отарам Жаканова. И едва утих буран, Алим решил первым долгом отыскать в степи и проводить всех чабанов, вывезти на самолете обмороженных и больных, если такие есть, забросить самое необходимое — медикаменты, масло, казы...¹ Дороги занесло, машины, тракторы штурмовали каждый десяток метров, не на много легче шел конь, и теперь многое зависело от пилота и его птицы.

На снежной равнине показалось сероватое плотное каплевидное пятно. Сделав круг, Петро осторожно посадил самолет примерно в полукилометре от отары, чтобы не пугать и без того измученных овец. Взяв свертки с гостинцами, зашагали по глубокому снегу.

Чабан Сальмен, спутав своего верблюда, стоял возле отары, изредка щелкая длинным кнутом. Увидев самолет, он стал неистово махать руками, а когда тот сел, со всех ног побежал к нему, радостно крича.

Его худощавое лицо, изрезанное морщинами, сияло, редкие усы топорщились в улыбке.

Алим и Жарасов оба одновременно обняли чабана и принялись расспрашивать его, перебивая друг друга, сужа ему в руки свертки.

— Я-то что, здоров! — отвечал Сальмен довольно бодро. — Степь — дело привычное, и зима тоже, она

¹ Жирная колбаса из конины.

каждый год бывает... Но вот овцы того, что я терплю, терпеть не хотят! Понимаете, какая штука? Не могут...

— А как ты смог, милый человек? Что ты ешь, где ты спишь?

— Ем хлеб, сплю промеж овец. Этот тулуп мне и кров и постель. А вот овцы... овцы, товарищи, гибнут. Я тех... которые пали... стараюсь стащить в кучу, все же на них мех дорогой. Тушки, конечно, тощие, но кожа, шерсть поди пригодится. Так что вы их заберите. А то снегом занесет, потом не сырещь.

Сгоряча Сальмен повел было товарищей подбирать тушки. Затем, опомнившись, вскричал:

— О-пыр-ау! Никак я совсем спятил! А вы кто же такие будете, товарищи? Ко мне прилетели? Или так сели... из-за поломки?

— Неужто не узнаешь меня, Сальмен? — спросил Жарасов и снял шапку.

— Ой, товарищ Жарасов! Наш Жарасов, оказывается... Здравствуйте. Вы-то как? На вас лица нет, ей-богу. Эх! Кто же вас так разукрасил?

— Черноголовый... — смеясь, отозвался Жарасов.

Договорились, что Сальмен остановит отару. Юрту, палатки, продовольствие, а с ним и повариху привезут ему сюда.

И снова самолет закружил над степью. Петро сажал его на снег, точно на бетонную дорожку, и после четвертой посадки Алим сказал с восхищением:

— Вы, товарищ дорогой, просто беркут, хозяин Мырзабаевской степи, — где хотите, там и садитесь. Если и дальше так пойдет, мы, как на автобусе, все отары объедем.

Аккуратный, подтянутый Петро улыбнулся, слегка морща нос.

— Это у меня опыт. Набил руку на борьбе с саранчой... Все лето боролся. Пригодилось.

Местность, на которой они приметили пятую отару, резко выделялась в степи. Куда ни глянешь, рыввины и кочки. Низко кружка над землей, Петро высмотрел небольшое гладкое поле; по бокам тянулись бугры да ямы, впереди темнел овраг с незамерзающим родником. Петро решил приземлиться на это поле, и самолет, подняв вихрь мельчайшей снежной пыли, оста-

новился у самого края оврага. Прямо перед винтом самолета возвышалась чья-то заброшенная могила. Мазар¹ был полуразрушен, но его зубцы угрожающе торчали вверх. Самолет стоял к ним впритирку.

— Это не простая могила,— сказал Алим.— У подножия Карагату и в горах таких много. В них похоронены святые, к вашему сведению... Наверное, святость этой могилы нас и спасла. Ты, Жарасов, должен был переночевать в мазаре, а наутро чистыми руками совершил жертвоприношение — повесить на зубцы памятника свои любимые портняжки... По дедовскому обычаяю,— пояснил Алим пилоту,— верующие, прося заступничества святого, проводили ночь у его могилы и вешали на нее лоскуты от своей одежды.

Отару пас неутомимый и отважный мудрец Жаксымбет. И он прежде всего напомнил Жарасову о своем слове на совете чабанов, которое сдержал, хотя Жарасов и подвел поначалу.

— Я обещался при людях набить пасть снегом Черноголовому, подлому псу. Было это? Было, не забыл. Ну вот смотри... Вокруг, правда, падеж, радоваться нечему, а я — вот он! Сижу в ложбинке с родничком, у святого места... Чем не оазис? У меня, слава богу, и сочный тростничок под снегом, и травка жирненькая. Прежде тут стоянка аула была. Как добрался до сюда, стой, ни шагу, родимые. Овцы пока все целы. А там и вы объявились. Спасибо вам, ставим юрты, палатки, что вы прислали. Везут будто и сено и другие корма. Из колхоза Калинина, говорят. Нынче я герой, как заново родился! Пускай теперь тот немощный... Шонка... пускай скажет, что я гордец, хвастун. Интересно послушать.

В затишке у родника Жарасов увидел небольшую юрту. Над ее куполом дрожал дымок.

«Везучий старик,— подумал Жарасов,— к нему и по сугробам пробились».

А Жаксымбет уже тряс обеими руками руку Алиму Еримбетову и крякал от полноты чувств.

— А этот товарищ, стало быть, из самого обкома, ага, ага... Так!

Не обошел старик и летчика.

¹ Захоронение «святых».

— Ты кто будешь? Это ты и есть летчик? А овец пасти умеешь? Отец был пастухом? Вон оно что. Ну, выйдешь в генералы...

Затем он повел их к своей юрте, молодцевато распахнув полы огромного тулупа, весело скаля в улыбке редкие зубы.

— Сегодня у меня уже не то, что вчера, не голая пустыня под свирепым небом. Добро пожаловать, гости, заходите, посмотрите. Есть что посмотреть!

У порога спиной к двери сидела на полу женщина, закутанная в теплую шаль, и месила тесто. Жаксымбет кивнул в ее сторону и крепко толкнул Алима в бок.

— Ты, голубчик, меня омолодил. Только мне стукнуло шестьдесят, обновил мой дом, воздвиг надо мною отау¹. Исполнилась моя мечта, на старости лет второй раз меня женили, в новую юрту молодуху привели.— И старик громко, озорно расхохотался.

Женщина обернулась и тоже засмеялась, прикрывая ладонью сморщененный рот.

— Ишь чего захотел, будь ты неладен,— проговорила она, причмокивая.— Радуйся, что живой, в степи до смерти не замерз. Ему, сивому козлу, еще молодуха понадобилась!

Жаксымбет сердито замахал на нее длинными рукавами тулупа.

— Ах, пропади ты пропадом, старая... отвернись! Хотел было обмануть этого самого обкома: вот, мол, я какую себе красотку отхватил... Все дело мне испортила. Беззубая! Чего смотришь? Проглотить хочешь? Меси свое тесто, помалкивай.

— И часу здесь не пробуду! Молодость свою губить...— отозвалась женщина в тон Жаксымбету. Это была стряпуха, присланная из района.

Алим смеялся до слез.

— Ну молодец, Жаке! Ну герой! К вам Черноловый и носа не сунет, засмеете.

— А что? И засмею. Я на своей земле, а овечки, они как дети... Я загодя говорил: если меня вся область, весь народ в спину-то подопрет, так пусть меня бог в рай уберет, коли я раскисну.

¹ Новая юрта, которую обычно ставили молодоженам

После полудня Алим и Жарасов нашли в заснеженной безлюдной степи еще три отары. Они держались неподалеку друг от друга. Старший из чабанов, Ажибай, был невесел. У него случилось самое худшее. И он не сразу решился сказать об этом, как не сразу говорят о покойнике.

— Помогли, спасибо. А то ребята уж снег едят. Ветер да мороз. Терпения нет! И по правде сказать, страшновато становится, побаиваемся мы...

— Вы боитесь? — удивился Алим.

— Я не о себе... — словно бы с неохотой ответил Ажибай. — Тут племянник мой, Медет, единственного брата сынок, отару водит. Десятилетку кончил, пошел чабаном. Вот уж третьи сутки, как я его из виду потерял. Про остальных про всех знаю. А что с Медетом, неизвестно. Пропал парень вместе с отарой, след простили!

Ажибай скомкал всей пятерней свою сивую бороду и потупился; голос его дрогнул:

— Медетом зовут...

Алим с тревогой повернулся к Жарасову.

— Искать! Немедленно. Я тебя подброшу в Сарыбастау. Езжай на вездеходе. А я поднимусь с Петром... Наверно, в буран угнало парня вместе с его овцами куда-нибудь в глубинку...

Старый Ажибай закивал головой. Стряхнув с шапки снег, он ладонью разгладил и вытер косматые брови. Выцветшие с желтинкой глаза его часто мигали, веки распухли и гноились.

— Так, так, точно, — согласился он. — По ветру парнишка и пошел. Овец погнало, ну и он за ними. Где ему их удержать? И я бы не совладал... Рос мальчик в городе, только со школьной скамьи. Правда, до работы охоч. Учился вон как, аттестат ему дали, особую такую бумагу. Характером — шелк, иная девица его грубей, но упорный. А главное, он последняя наша надежда. Отец его на фронте погиб, а у меня дочки одни. С этим парнем наш род Долба кончается. Поищите его, дорогие мои... Эх, да что там! Чует мое сердце, неладно с ним. Замерз жигит. Спит где-нибудь под сугробом вечным сном. И того ведь не знает, что в буран уснешь — не проснешься...

— Не сокрушайтесь, аксакал, раньше времени,—
сказал Алим.— Сыщем жигита.

— Спаси его, сынок, не оставь. Медетом зовут...

— Выручим, выручим Медета,— отозвался Алим, но в голосе его было больше озабоченности и беспокойства, нежели уверенности.— Теперь, раз до нас дело дошло, считайте меня своим братом, а Медету отцом. Все сделаю. Не присяду, пока не увижу его живого, здорового! А вы о себе подумайте, набирайтесь сил! Или мы зря старались?

Старый чабан молча с силой обнял Алима и оттолкнул от себя, торопя.

Часа за два до заката Алим и Жарасов были на базе. Жарасов пересел на вездеход. Алим поспешил к самолету:

— Петро! Орел! Тебе, по-моему, все ясно. Люди полагаются на нас, мы на тебя. Как бы нам до заката облететь округу и поспеть вернуться?

— Облетим. Вернемся,— ответил летчик. И они полетели.

Жарасов пустился на поиски в вездеходе. Он не вернулся и после заката. Всю ночь напролет колесили по степному бездорожью, всползая на холмы и ныряя в овраги, ориентируясь по руслам вымерзших речек. Всю ночь обшаривали снежные пустынные просторы светом фар, часто сигналя. Время от времени останавливались и принимались стрелять в воздух из ружей. Ни одна живая душа не показывалась и не отзывалась. Под утро, удрученные, подавленные, вернулись на базу. Мотор вездехода повизгивал от усталости.

С самолета также не заметили в степи ни человека, ни большой овечьей отары в полтысячи голов. Кругом бело, голо, чисто.

Ночью из Баскента Карпов вызвал по радио Алима Еримбетова. Нил Петрович спрашивал, что с чабаном, по имени Медет. Алим сбивчиво и со злостью стал рассказывать о том, что видел с самолета, о снегах и заносах.

— Еримбетов,— перебил его Карпов,— вы кто, синоптик? Что вы мне сводки погоды читаете? О людях докладывайте! И расторопнее, расторопнее поворачивайтесь. Мы отыскивали пропавших и терпевших бедствие во льдах Арктики, за тысячи киометров от ма-

терика, а тут на родной земле, на которой живем и работаем, на которой пасем скот, не можем помочь пареньку, который спасает от гибели колхозное добро! Овечек мальчишка спасает, а рискует, как вы понимаете, не насморком... Что вам еще подбросить из техники, говорите.

— Нил Петрович, техники тут достаточно и... кроме Медета, все чабаны отысканы, всем помогли. Завезли поварих и подручных, водоносов ухаживать за ягнятами... — сказал Алим, чувствуя, что говорит не то, и с невольной дрожью думая, что от несчастного случая никто не застрахован.

Чуть свет самолет вновь поднялся в воздух и принялся «брить» вдоль и поперек Мырзабаевскую степь, скаты Буркитты со стороны Актау, а затем пески Мюн-Кумы — все те места, куда мог забрести пастух, гонимый бураном. Час за часом ходил самолет над степью, как маятник. Тем временем люди Жарасова обезжали увалы и распадки на конях. Все тщетно. Медет точно сквозь землю провалился и утащил за собой отару. В полдень Алим и Жарасов встретились и вновь разъехались, наскоро поглотав горячей похлебки. Условились сойтись на последний совет вечером в Айгене. У обоих на уме было одно: а что же мы скажем старому Ажибаю?

День был серый, мглистый. С утра с востока опять задул Черноголовый, грозя бураном.

Жарасов решил направиться в глубь гор за гряду Буркитты, где Медета не искали. Вряд ли он там мог быть, поэтому и не искали. Но чем черт не шутит!

Дорога была тяжелая. По равнине, по сугробам машина ползла еле-еле, дымясь, как в августовский зной. На подъем в горы она пошла тоже не резво, но легче. Постепенно набирали высоту. На пути, подобно волнам, горбилось множество облизанных ветром бугров, крутых и пологих, белевших пятнами снега, черневших слегка обледенелой землей, усыпанных плоской серой галькой. Тут и там торчали одинокие голые скалы.

Шофер Жагипар, привычный к горным дорогам, вел машину осмотрительно и смело — то гнал ее по самой верхушке гребня, то бросал вниз по крутым скатам, то осторожненько притормаживал на пологом

спуске. И непрерывно сигналил, протяжно и тревожно. От этих сигналов, от тряски Жарасова мутило. В глазах спидометра выпрыгивала цифра за цифрой. Машина уходила все дальше в горы. Вот уж они в самой что ни на есть глубинке... А отвечает им лишь Черноголовый унылым волчим воем.

Хотели возвращаться. Машина спускалась в глубокий овраг, в затишье, когда Есентаев, сидевший на заднем сиденье, вдруг открыл дверцу, сорвал с головы ушанку и прислушался. До него до несся слабый, неясный звук с наветренной стороны. Звук странный, он мог исходить и с дальнего хребта и из-под камней не подалеку.

— Стой! Стой! Остановись! — закричал Есентаев, хлопая по плечам Жарасова и шофера, и, не дожидаясь, когда машина затормозит, выпрыгнул на ходу в снег.

Бытягивая шею, Есентаев стал поворачиваться лицом то к ветру, то против него. Звук то чуть усиливаясь, то совсем ослабевал и обрывался.

Выскочил из машины и проворный Жагипар, заглушив мотор, и Жарасов. С минуту все трое прислушивались затаив дыхание. Жарасов сказал нетерпеливо:

— В этой стороне ни людей, ни скота нет... понятно?

— Понятно, друг, — сказал Есентаев. — Эта голос... Человек кричит! Зовет.

Жагипар с сомнением покачал головой.

— Нет, так люди не кричат.

— Кто же это, волк?

— Нет, и не волк.

— Кто же тогда? Горный дух?

— Не разберу. Ветер... глушил...

Жарасов нахлобучил шапку на брови и махнул кулаком.

— Ну кто бы там ни был, хоть шайтан, пошли!

И все трое бегом кинулись вверх по оврагу, увязая в рыхлом снегу. Минут через двадцать, не меньше, пыхтя и чертыкаясь, взмокшие от пота, они выбрались на скалистый край оврага. Огляделись. Прислушались. Ни звука! Голоса не слышно...

Впереди громоздился, закрывая обзор, двугорбый холм, покрытый пожухлой прошлогодней травой. Чер-

ноголовый стер с него снег без остатка и свистел здесь, точно разбойник, сбивая с ног. Есентаев, не задумываясь, не останавливаясь, зашагал на холм. Следом, согнувшись, пошли Жарасов и шофер. А взойдя на холм, они вдруг отчетливо услышали человеческий голос.

По ту сторону холма, в тесной низинке, укрытой от ветра, паслись овцы. Их было много — голов полтысячи. С ними — человек. Жарасов увидел его спину в овчинном тулупе. И человек этот в самом деле не кричал, не стонал, не плакал... Он пел.

Песня была знакомая, ее распевала с прошлого года молодежь всего Ноинского района. Называлась она «Акмандайым», что значит «Светлоликая». Написал ее Шамши Калдаяков. Она долетела в степь к пастухам из столицы, а ныне звучала здесь, в горах, где не рассчитывали увидеть человека, и Черноголовый ее не заглушил.

Жарасов, шофер и Есентаев, крича, размахивая руками, побежали с холма в низинку к чабану, которого уже не чаяли найти живым. Овцы шарахнулись от них врассыпную. Чабан обернулся и медленно пошел на встречу. Казалось, что он и не рад был людям, скорей недоумевал, зачем они так шумят, распугивают овец.

— Уа! Ты кто? Медет? — вопил на бегу Жарасов.
— Да... Здравствуйте, — ответил жигит глухо.

Жарасов с ходу облапил его.

— Миленький, где же ты тут пропадаешь? Жив?
Здоров?

Стали его тискать, хлопать по плечам втроем, тесня друг друга.

— Ты понимаешь, что ты сделал? Ты понимаешь,
что ты за человек?

На радостях смяли парня, едва не сбили с ног. Он был все же слаб. Лицо его, обветренное, темное от зимнего загара, поражало своей худобой и морщилось, как у старика. Только белозубая улыбка говорила: это юноша!

— Скажите, — спросил он, приглядываясь ко всем троим поочередно, — вы, может быть, знаете чабана Ажибая-ага... Что он? Где он?

— В порядке! — закричал Жарасов смеясь. — Тебя ищем по всей степи.

— Я это знал... — тихо вымолвил Медет.

— Знал-то знал, а ведь мы уж того... Честно говоря, не мы тебя нашли, песня твоя нас за уши привела!

— Это хорошо, — проговорил Медет невнятно. — Вчера видел самолет. Не мог кричать... — И он сел на снег и сскутился, будто какая-то пружина в нем внезапно ослабла.

Позднее он рассказал: все было, как и предполагали. Черноголовый погнал отару на запад. Медет пошел за овцами, удерживая их в куче тем, что был с ними. Овцы теснились вокруг пастуха, и отара уцелела, хотя занесло ее невесть куда. Тут, за крутыми склонами, укрылись. Тут и корм нашли: где ковыль, где кустарничек, а местами белый тростник и полынь. Корм недурной, к нему овцы и прилипли. В начале оврага, в котором осталась машина, они залегли. Отлежались, объели, что там было, и перекатились кудрявой плотной волной сюда, за холм, в низинку. Тут тоже понравилось...

Как не замерз? Боялся ли заснуть в буран? По правде сказать, сперва было не до сна. А потом и спал. И даже не обморозился. Овцы выручили. Медет спал с ними в куче, как это делают опытные старики. Пастух берег их, они берегли его. Складно шло дело. И не страшно было. Ждал, стихнет буран, товарищи сделают что нужно. Потому и пел. С песней веселей. Овцы и те, оказывается, песню любят. Глупы они, слабы, пугливы, но, говорят, когда человек поет, его и волчья стая обходит. Некоторые курят, когда им трудно дается. Медет не курил, но без песни не мог, как иные без курева!

Обнимая жигита, Жарасов почувствовал что-то твердое. Спросил:

— Хлеб? Небось как камень, на морозе...

— Нет, хлебушек у меня вчера кончился, — смущенно ответил Медет и вынул из-за отворота полушибка книги.

Это была «Повесть о настоящем человеке», недавно переведенная на казахский язык.

— Ну, вот что. У нас тут машина. Забираем тебя с собой, — решительно заявил Жарасов.

Медет бледно улыбнулся.

— Вместе с отарой? — спросил он. — А не тесновато будет?

Шофер Жагипар крякнул одобрительно и сунул парню в руки сверток с маслом, казы, сгущенным молоком и шоколадом.

— Завтра забросим тебе самолетом... — сказал Жарасов. — Чего хочешь проси, не стесняйся!

— Хлебушка свежего, печеного... — ответил Медет, развернув сверток.

С самолетом, однако, получилось не так, как хотелось.

При посадке в Айгене Петро впервые оказался в затруднении. Поселок темнел кубиками строений в узком овраге. Петро дважды снижался, прицеливаясь, и дважды снова взмывал вверх. Единственная подходящая площадка была всего метров сорок в длину. По пути в Айгене Петро приметил километрах в шести от поселка большое ровное поле. Надо бы садиться там но горючее кончалось, и Петро решил положиться на юркий послужный «ЯК» и свой глазомер. Летчик без ошибочно определил размеры площадки и держал самолет как мог...

Алим почувствовал, что посадка опасная, и помалкивал, пока самолет не стал перед песчаным скатом оврага. А там уж дал себе волю:

— Я говорю, беркут, беркут! Свил гнездо на утесе и летаешь к нему... Этак и мне с тобой быть летуном заправским.

Но Петро, спрыгнув на землю и обойдя машину уткнувшуюся винтом в песок, сокрушенно качнулся головой:

— Капотик... Поздравляю. Придется вашему беркуту раком ползти, башку из капкана вызывать.

И все же денек был, можно сказать, безоблачным. С тех пор как Алим приехал в район, он ни разу так не радовался. Медет отыскался. Книжки читает жигит Про настоящего человека... Петро, хорошо знавший казахский язык, с волнением прислушивался к разговору Алима и Жарасова и смеялся, глядя на то, как они пинают, тискают и колотят друг друга по плечам.

Отара Жаканова подсобили всерьез. Абды старался изо всех сил. Помимо юрт из колхоза Калинина он добыл еще пятнадцать кибиток и доставил их в ота

ры вместе с продовольствием, посудой, дровами. Впервые за две недели чабаны сели к очагам, поели горячего, переобулись у огня, и казалось, что в суровой морозной степи повеяло дыханием весны.

Ночевали в небольшом доме на отшибе у известного на всю округу охотника, незаурядного стрелка и следопыта. Звали его Исабеком, «беркутом Айгене», а его жену — Зейнеп. Она работала продавщицей в местном кооперативе.

В доме были две просторные комнаты, чистые, теплые, уютные. Обе были ярко освещены. Хозяйка, видная женщина, опрятно одетая, смуглолицая, и хозяин, человек богатырского сложения, с юношески свежими румяными щеками и седой клином бородкой, встретили гостей с почетом. Гости знатные и труженики примерные...

На столе, покрытом свежей скатертью, желтел кипящий самовар, слегка дымилось большое круглое блюдо с каурдаком.

На полу, как водится, постелены старенький ковер, большой новый палас, толстые коричневые кошмы, расшитые узорами. Глухая стена против окна уставлена сундуками, на них до потолка слоями уложены стеганные атласные одеяла, большие пуховые подушки в цветастых наволочках.

Но Алиму прежде всего бросились в глаза два музыкальных инструмента — баян и домбра. Домбра украшена перьями филина, стало быть принадлежит девушке. Алим хорошо пел и собирался спросить, кто же в этом доме музыкант, когда Исабек, наклонившись к жене, негромко спросил:

— И где бродит? В такую пору...

Зейнеп тихо ответила:

— Опять что-то случилось... Всякий раз твержу: куда тебя несет на ночь глядя в степь? Заблудишься, пропадешь. Не слушается...

Немного погодя Исабек сделал знак жене: помолчи-ка. И хозяева и гости прислушались. Снаружи доносился частый топот коня. И разом оборвался у дома. Видно, всадник лихой, остановил коня на полном скаку. Хлопнула наружная дверь, за стеной что-то тяжело

ло грохнуло, и в комнату, повизгивая, вбежали две борзые в нарядных ошейниках, украшенных погремушками.

— А, вот они... прибыли,— весело проговорил Иса-бек.

— Папа! Выйди-ка на минуту,— окликнул его звучный молодой голос из прихожей.

Иса-бек и Зейнеп быстро вышли. Из-за двери донеслись их восклицания:

— Ой, что это такое? Радость ты моя, что это? Светик, да как же ты его?

Им ответил веселый заливистый смех.

Гости вскочили из-за стола и, толкаясь, устремились в соседнюю комнату. Там они увидели распрастертую на полу тушу матерого волка, крупного самца с доброго кабана величиной. Загривок у него был серо-серебряный. Около поверженного зверя стоял высокий юноша с большими темными глазами и пылающими от мороза щеками. Тонкими белыми пальцами он опирался о вороненый ствол охотниччьего ружья. Зубы юноши поблескивали в улыбке.

Стали знакомиться, и жигит оказался девушкой, единственной дочкой «беркута Айгене». По обычаям, до замужества она держалась «еркекшора», то есть одевалась и воспитывалась, как мальчишка. В старину считалось, что это способствует рождению в семье сына и брата. Сагадат стреляла, как отец, и не страшилась ни волка, ни шайтана. Всегда на коне, она выросла сорванцом, но в душе была скромна, как и подобает девушке.

За столом она краснела, слушая похвалы старших, посторонних, и все же, нимало не робея, рассказала о своих сегодняшних приключениях. Она поехала на урочище Уилдек осмотреть расставленные отцом капканы. В один из них угодил этот волк. Ему защемило задние ноги.

Искоса поглядывая на отца и словно спрашивая его взглядом, так ли она себя ведет, Сагадат говорила, смеясь от смущения и от полноты жизни:

— Сперва я хотела огреть его между ушей прикладом. Спешилась, подошла. Но он все бросался от меня в сторону, волоча капкан. И конь пугался, фыркал, тянул меня прочь. Чумбур-то я держала за поясом. Я по-

боялась, что волк вырвется из капкана. Еще уйдет... Выстрелила ему в грудь. Он свалился, стал грызть себе бок. Клыки у него, как ножи. Пасть — красная яма. Ну и сдох. Для верности стукнула его камнем по затылку, хотела приторочить к седлу, да больно уж велик. Потащила волоком на ремне за собой. Вот и притащила!

— Что плохо — спешилась, когда волк был живой, — строго заметил отец, но во взгляде его светилось восхищение.— Раненый он смел, а мог быть и бешеный... Он и с капканом сшиб бы тебя с ног.

— Господи боже мой! — испуганно заголосила мать.— Страсть какая! Сколько я твердила, молила... Нарвется вот так-то на свою беду. Пожалела бы хоть мать!

И этот упрек относился в равной мере к дочери и к отцу.

Сагадат отвечала мягко и рассудительно:

— Но я же с ружьем, а он безоружный... Сами знаете нашего гнедого: с седла не выстрелишь, шарахается. А кто же кинет такое чудище в капкан! Жалко...— И она виновато и просительно глянула на мать.

Алим не удержался, вскрикнул азартно:

— Верно! Молодчина, сестренка! Уважила отца.

Жарасов добавил, словно утешая мать:

— Шкура-то — чистое серебро, загляденье.

Сагадат сидела, как ей приличествовало, потупив глаза. После чая она вышла, переоделась в цветастое платье, переплела длинные косы, и Алим, увидев ее в новом обличье, подумал — загляденье девушка!

Жарасов рассказывал о Медете. Сагадат внимательно слушала, но так, будто ее ничто не удивляло,— ни то, что новичок, горожанин, не бросил отары в буран, ни то, что он пел и по песне его нашли, ни то, что за пазухой носил книгу, а хлеб у него уже сутки как кончился...

— Образованный жигит, остался у нас на практику. Хочет в сельскохозяйственную академию.

— А в каком месте он укрылся от бурана? — спросил Исабек.

— Если брать напрямик, на закат, отсюда недалеко, километрах примерно в двадцати. Это где обрывистые такие, скалистые бугры, за Буркитты. Там есть

длинный овраг с крутыми склонами у самого перевала.

— Так это же Волчий лог! — догадалась Сагадат и засмеялась.— Хорошее место. Недаром он там пел...

Теперь Алиму незачем было спрашивать, кто в этом доме музыкант. Хотелось послушать, как Сагадат играет. И Алим повел речь по всем правилам степного острожения:

— Сегодня, друзья, в вашей доброй семье мы забыли, как мерзли вчера, проклиная буран. За это от души спасибо. Но наша благодарность выросла бы до неба, если бы вы угостили нас еще кое-чем. Говорят, «еда вкусна с хозяевами». Вот я, глядя на этот красивый баян, подумал: хорошо было бы, если бы здесь сидел его хозяин. Может, это отец? Или дочь?

Все за столом засмеялись. И Сагадат не стала церемониться, ее не пришлось упрашивать. Сильный голос ее зазвучал в лад с баяном.

Она пела до самого ужина одну песню за другой. Слушая радио, Сагадат запомнила многие популярные песни, и слова и музыку... Она спела романс Абая «Привет тебе, чернобрювая», а под конец песню, которую пел Медет, чем особенно тронула гостей. Сагадат пела увлеченно, с большим чувством. Голос ее звучал свободно и широко. Но, конечно, это было не прежнее степное пение. В манере Сагадат чувствовалось влияние города, новая культура. И на баяне она играла не по-деревенски, с хорошим вкусом. Кто ее учил? Знаменитый учитель! Радио.

Приятно было встретить далеко от столиц и консерваторий такую редкостную девушку, мужественную, одаренную, поистине необыкновенную. Но оказалось, что даже Сагадат, подобно многим казахским девушкам в районе, бросила учиться. Почему? Неясно. Из-за каких-то мелких домашних забот и неурядиц. Алима это удивило и взволновало. Он принялся убеждать ее вернуться в школу, а родителей — не мешать ей. Он говорил, что Сагадат примут в любой техникум Баскента, если она пожелает. Девушек в техникумах мало, а нужно, чтобы было много.

Сагадат слушала гостя из области вполуха. Она думала об отчаянном парне, которого звали Медет.

...Рано утром, проводив гостей, Исабек оседлал

строптивого гнедого, на котором накануне Сагадат ездила осматривать капканы, взял на сворку борзых и отправился промышлять лисиц. А Сагадат на смиренном сером поскакала в горы. Она спешила в Волчий лог.

К тому времени Медету тоже поставили юрту, прислали подручных, и он отведал горячей баранины и крепкого чаю, отоспался в тепле и при помощниках даже вроде бы обленился... День был ясный, теплый, тихий, и Медет пошел к перевалу осмотреться, полюбоваться на мир, в котором жил.

Медет подходил к седловине двурогого холма, когда со стороны Айгена донеслась песня. Певец быстро приближался, видно, на коне, голос его креп, и Медет, изумленный, остановился, он узнал «Светлолицую», свою песню! Голос был женский, звонкий.

Радостное и слегка ревнивое чувство охватило Медета. Он выпрямился, улыбаясь, с нетерпением глядя туда, откуда летела песня. И вот он не выдержал и подхватил припев, словно гордясь своим сильным голосом. Песня как бы легла на длинные крылья. И на расстоянии певицы старались не перекричать, а попасть в лад друг другу, голоса их сливались воедино.

Из-за выпуклой серой скалы показались острые уши, челка и светлая звездочка на лбу коня, который тяжело карабкался на кручу. Следом появились голова и плечи молодого жигита в куньей шапке и белом мерлушковом полуушубке. Он сидел в седле подбоченясь. На возбужденном его лице играла озорная улыбка.

Увидев друг друга, певцы глазом не моргнули, пока всадник не подъехал вплотную и они не допели песню. Последние ее слова, слова припева, были замечательны:

О милая, для счастья
Нет «поздно» или «рано»...
Приди ко мне в объятья,
Не я ли твой избранник?

Только после этого всадник свесился с седла и притянул Медету крепкую маленькую руку.

— Медет? Здорово! Я о тебе все знаю... Вот специально приехала тебя приветствовать от комсомольцев Айгена.

Догадка мелькнула в глазах Медета.

— Ну и я о тебе все знаю,— сказал он.— Ты Сагадат! Так вот ты какая...

Девушка засмеялась, очень довольная.

— И что же ты можешь знать? Какая?

— Говорят, ты стрелок, охотник, выбила всех волков в округе... — ответил Медет по праву сверстника слегка насмешливо.— Песни о тебе покамест нет, но я бы сам сложил, если б умел, чтобы ее пели от Мон-Кумов до Карагана.

Сагадат по-мужски спрыгнула с коня и простецки грубо толкнула Медета в плечо, чтобы не показать своего смущения.

— А ты хитрый... хитрый парень!

И они оба засмеялись, исполненные дружелюбия. Затем наперебой принялись высматривать друг у друга и рассказывать о своем житье-бытье, непрестанно смеясь и не упуская случая подпустить шутливую неловкую шпильку.

— Боялся? — любопытствовала Сагадат.— Говори, боялся? Страшно в степи, когда Черноголовый воет?

— Страшно иной раз и когда книжку читаешь... Скорее злость меня брала. Думаешь, не обидно пропадать ни за что ни про что, как бездомной собаке? Вот что меня возмущало.

Сагадат кивнула одобрительно.

— Голодал? Гряз небось ногти?

— Не так уж и голодал. У меня мешок сухарей был, правда, железобетонных...

— Понятно! Теперь в жизни на сухарик не взглянешь?

— Наоборот, до самой смерти буду любить... Когда мне масло привезли, я его на сухарь вот таким слоем намазал и сгряз, как волк лошадиную лопатку.

— Видать, ты прожорливый товарищ! И бережливы... Другие набрасываются на казы, а ты на сухарь с маслицем?

— Теперь я не о еде мечтаю.

Сагадат лукаво скосила глаза.

— Мечтаешь? А о чем? Скажешь мне? Ну о чем?.. — И она сочувственно улыбнулась.— Знаю! В бане помыться. Вот тебе смена белья.

Отвязав от седла узелок, она протянула его Медету.

— Ты с себя грязное сними, чистое надень, а я твоё постираю... Да, еще книгу тебе привезла. Держи! «Три мушкетера». Читал?

Медет неприметно усмехнулся ее наивности: какой же десятиклассник не читал «Трех мушкетеров»!

— Нет, еще не читал,— сказал он великовозрастно,— но слышал, что интересно.

— Зачитаешься! Не заметишь, как день пролетит. Я завтра отпрошусь дома и приеду, присмотрю за твоими овцами. А ты на моем коне слетаешь в Айгене в баню. Тогда, может, будут у тебя другие мечты...

Сагадат оставалась у Медета до полудня, неумолчно болтая. Кстати, она сказала ему, что он пристроил свою отару в овраге, который называется Волчым логом. Когда-то здесь рос густой тростник и в нем были скрыты волчьи норы.

— Что ты говоришь! Вот здорово! — радостно закричал Медет; его все радовало сегодня.— То-то я в какую-то яму провалился. Под снегом ее не видать Смотри, она вроде высохшего колодца, человек в ней свободно помещается. Глубокая! Я к ночи, как выруга разыграется, гоню к этой яме овец, они вокруг сгрудятся, а сам — в нее, на самое дно, угреюсь и лежу.

— Э, миленький,— сказала Сагадат,— значит, ты теперь здешний волк, прямой потомок хозяев этой норы! Я на тебя капкан поставлю...

Медет сгорбился, оскалил зубы, до блеска выбеленные сухарями, и зарычал так, что смиренный конь Сагадат навострил уши.

Потом Медет спросил ее, почему она не учится. Сагадат рассердилась, сказала, что она не мамина дочка, и они заспорили горячо, страстно, как давние близкие знакомые, эти двое сородичей по комсомолу.

Алим и Жарасов опять поднялись чуть свет. Утро встретило их тревожными, нерадостными вестями. Безоблачный день был единственным.

Не хватало сена. Могучая техника не поспевала доставлять его отарам. И казалось, его нет вовсе! Незаметно оба «прорывных» района оказались на равных: и ноинцы, которым помогали, и узакцы, которые по-

могали. В самом крепком совхозе «Конекент» у Абды Есенова начался падеж... Гибли оягнившиеся матки, гибли ягныта.

На первый взгляд с приездом Алима Еримбетова в район дела пошли не лучше, а хуже. Чувство беспомощного гнева мешало Алиму работать.

Особенно тяжело было известие о том, что у Абды падеж. Оно всех ушибло.

— А где же Шау? — вне себя кричал Алим.— Я его лично снарядил в пески с семнадцатью машинами! Он же должен был взять сено в совхозе Тасты! Именно в Тасты, а не в Жоан-Тобе, чтобы хватило и ноянцам и узакцам. Из Тасты просили только транспорт... Что же наяву это было или во сне? Где Шау?

— И правда, как во сне... Он-то здесь, вернулся! Два дня ехал, не доехал: все машины, все семнадцать в снегу бросил, сам ночью пешком пришел.

Жарасов выругался, тряся кулаками.

— И зачем послали этого верхогляда, болтуна, труса? Понадеялись... а теперь вот ни сена, ни машин, хоть ложись да помирай.

— Клялся, божился, что дорогу знает,— начал было Есентаев.

— Мало нас учил Есдаулетов клятвами и божбой,— сквозь зубы проговорил Алим.— Надо готовить другие машины. Сам поеду! Не на машинах, так на себе привезу сколько надо...

— В Тасты бензина нет,— предупредил Жарасов.— Везите с собой непременно. У меня два исправных трактора стоят, и их берите.

Алим ответил кивком головы. Его вызывали по телефону из Баскента.

На проводе был, конечно, Карпов. Накануне он говорил с Есдаулетовым. Секретарь райкома Есдаулетов не показывался в степи ни в буран, ни в оттепель, зато усердно и искусно прикрывал район от нападок и по-преков сверху. Есдаулетов по обыкновению врал и изворачивался, обещал, заверял, ссылаясь на бесспорные, очевидные факты, и его не просто было припереть к стене. Ему и джут был нипочем.

— Как же так? — недоумевал Карпов.— Вы доложили обкому, что сена у вас хватит на всех. И это после того, как своими глазами увидели, что происходи-

дит на местах, и, по вашим собственным словам, до конца проверили и все уточнили.

Есдаулетов бойко, без запинки отвечал, что и сейчас утверждает то же самое; однако не без трудностей!.. Растранижирили, разбазарили некоторые безответственные работники, вроде директора «Конекента», и тем поставили райком в неловкое положение.

— Ах вот как, и вы против Абды... — заметил Карпов.

— Зачем? Будьте спокойны, склоки у себя в районе не допущу. Не было и не будет!

— Она у вас есть, Есдаулетов, — сказал Карпов. — Не потому ли нет сена?

— Разберусь, Нил Петрович, разберусь. Минуточку...

Вот почему с Алимом Карпов говорил насмешливо, хотя и доверительно:

— К вам просьба, Алим: объясните... только честно! Чего не хватает? Сена? Техники? Погоды? Людей? Только честно.

— Все есть, — сказал Алим. — Я не на месте, Нил Петрович. Плохо командую. Мне бы взводик, по моему чину-званию. А вы мне полк... Еду сейчас сам в Тасты. На главное направление! Исправлять свои ошибки.

— Вот это другой разговор. Держите меня в курсе.

— Есть.

Через два часа колонна из сорока машин, двух тракторов и трех бензовозов тронулась в путь. Впереди шел газик председателя Узакского райисполкома Курманова («узакского Жарасова»), который только что вернулся из отпуска и тотчас сел на коня... Рядом с шофером посадили проводника Кожахмета, человека надежного. У него был поистине степной глаз, и он не сбивался с пути ни днем, ни ночью, ни в дождь, ни в буран.

Поехали не по торной дороге, на которой Шау бросил свои грузовики, а по древней верблюжьей караванной тропе, которую показывал Кожахмет. Он ее знал, что называется, наизусть.

В тот же день, нигде не останавливаясь, колонна в полном составе прибыла в Тасты, оставив позади сто четырнадцать километров. Проскочили одним броском

Лишь под конец пути машины, замыкавшие колонну, стали вязнуть в рыхлом снегу, вскопанном передними, и отставать. Их вытянули тракторами. Но было ясно, что если за ночь дорогу не схватит крепким морозцем, груженые машины по ней не пройдут. Первая же застрянет... А сорок машин и за сорок суток не вытащишь.

Тем не менее с ходу взялись за погрузку. Грузили до отказа... За тем и ехали! Управились дотемна. Увязали груз веревками, осмотрели цепи на колесах. Колонна была готова, дело оставалось за морозом.

Добрая треть ночи прошла в разговорах о том, как ковы здешние дороги, как коварны пески Моюн-Кумы; они и зимой и летом западня для машин. То и дело кто-нибудь из шоферов вставал с постели и выходил посмотреть, какова погода. Как назло, сильно потеплело. Стояла безветренная мягкая весенняя ночь, какой в этом году еще не бывало. Вздыхая, ворочались все на жестких ложах: мысль о завтрашнем дне не давала уснуть.

Утром Кожахмет жался, мялся, словно желая сказать: направление показываю, за коней не отвечаю... По вчерашней дороге ехать не решились и выбрали новый маршрут — на «Конекент». Местные старожилы говорили, что он верней. Кожахмет молчал; он свое дело сделал вчера.

Может быть, он один предвидел, какие неожиданности им угрожают. А эти неожиданности превзошли все ночные страхи и опасения. Примерно через час после отъезда из Тасты вдруг с гор сорвался и бешено завыл Черноголовый, удариł мороз, о котором так мечтали.

Разумно было бы при таком повороте дела вернуться назад и поехать по вчерашнему испробованному пути, но до этого додумались, когда уже поздно было возвращаться.

С трезвой оглядывался Алим, до боли кусая губы: колонна растягивалась, рвалась... Давно отстали тракторы, подбирая и выволакивая отстающих; их и не видно было позади.

Курманов нервничал. На виду у газика оставалось все меньше и меньше машин — они газовали, точно на крутом затяжном подъеме. И Алим решил, что нуж-

но оторваться от колонны и налегке поспешить в «Кекент» за тракторами.

Сокращая путь, газик взял круче на запад и ушел вперед.

Вскоре в степи перед ним замаячил грузовик — он увяз всеми четырьмя колесами в жидкой грязи, слегка припорощенной снегом. Издалека были видны в кузове наваленные горой тушки павших овец. Людей в машине не было. Видавший виды шофер газика только головой покачал и поторопился подальше обогнать гиблое место. Но несколько минут спустя газик вдруг закачался, задергался, как подбитый, и, резко вздрогнув, остановился, погрызая колесами в клейкой жиже скрытой под снегом. Кожахмет открыл дверцу и яростно сплюнул.

Путники спрыгнули на землю и тотчас же стали медленно увязать сапогами в трясине — снег покрывал ее тонкой рвущейся кисеей. Гадливость и невольный страх охватили людей. Они с трудом вытягивали ноги из чмокающие, засасывающей топи.

Курманов понял, что их постигла настоящая беда. Под ними было солончаковое болото — гнойная рана земли, каких немало в этих местах.

— А еще говорим, пески! — с отвращением закричал он. — Разве это пески? Пески в Кызылкумах или Каракумах. А эти Моюн-Кумы — чистое проклятье божья кары. Видите... и мороз их не берет, жидкое все как кисель.

С трудом, коротко шагая и судорожно балансируя руками, выбрались на твердый грунт.

— Такая стужа... а здесь как летом... — сказал шофер, с оторопью глядя на свою машину. — Хоть бы со всем не утонула!

— Не успела застыть, подлая, после вчерашней ночи, — сказал Кожахмет.

А Алим подумал: «Вот и я, как Шау... еще хуже...»

Часа полтора они стояли на морозном ветру, поджиная свою колонну, но не дождались ни попутной ни встречной машины. Видимо, колонна шла северней и это хорошо.

Газик увязал все глубже. А мороз не ослабевал. Жгучий ветер, казалось, сдирал с лица кожу. Укрыться было негде.

— Нос побелел... щеки потри, лоб... — то и дело говорили путники друг другу, отбиваясь от стужи, как от злой собаки.

— Э... что же нам вчетвером мучиться? — сказал, наконец, шофер. — Вы, Алим-ага, и вы, товарищ Курманов... поискали бы лучше аул. А мы с Кожеке разведем костер. Тут по дороге был саксаул... Ступайте! Может, пригоните сюда трактор.

— Давеча мы проезжали дом у дороги, — сказал Кожахмет. — Это пикет Сарысу. Там найдется и конь и верблюд. Погрейтесь... а потом попробуйте поискать колонну. Верхом оно сподручней.

Алим согласился.

— Где вы видели саксаул? Пойдем, — сказал он, — наломаем...

Пошатываясь под гнетом ветра, они зашагали гуськом к песчаному пригорку, светлевшему вдали. На нем росли вразброс несколько старых корявых саксаулин. Вчетвером повисли на толстой, словно бы судорожно изогнутой ветке и своей тяжестью обломили ее, а затем этой же веткой, как кувалдой, раскололи ствол.

— Ох, бедняга саксаул... хорошо, что ты как стекло... — крикнул Алим, отдуваясь, довольный тем, что немного погрелся.

— Видать, он был у них аксакалом, — сказал Кожахмет. — А уж коли аксакал поддался, и другие не откажут. Вот первому сверстник. А ну, навались! Сломим старика. Это дерево одно другим разбить легче, чем сосну топором.

Со вторым стволов справились быстрей. Выручало особое свойство саксаула, который невозможно разрубить топором, но сравнительно нетрудно расколоть ударами оземь или чем-нибудь тяжелым. Снесли под корень еще две саксаулины и, взвалив на себя стволы и ветки, пошли назад к застрявшей машине.

Облитый бензином, сухой и твердый саксаул вспыхнул и начал медленно жарко разгораться.

— Ну, счастливо зимовать... — сказал Алим. — Следите друг за другом, чтобы не обморозиться.

— Путь добрый... Попспешайте, — ответили шофер и Кожахмет.

Путь был жестоко злым, однако пикет Сарысу, как называли это место еще с прошлого века, Алим и Кур-

манов отыскали. Старик и хворая, немощная женщина, которые оказались в доме у дороги, ахнули в один голос, увидев, как выглядят путники. Дымящийся в пиалах чай как будто привел их в себя. Мешкать было некогда. В сумерки, взобравшись на верблюда, вдвоем поехали в степь искать колонну.

Алим, как и многие его сверстники, был в Отечественную войну на фронте. Служил на Балтийском флоте, воевал и на боевом корабле и в пешем строю морской пехоты. Он родился в юрте и был истым степняком. Удобства мирной жизни, городская квартира, а также комфорт обкомовского кабинета не избаловали его. В районах, в степной глубинке и в летний зной и в зимнюю стужу он был дома. А лютый Черноголовый казаху не в диковинку.

Взгромоздившись на верблюда впереди товарища, Алим по привычке, памятной еще с детства, пинал верблюда пятками в бока и понукал: «Атчу-атчу!» Верблюд послушно резво бежал, раскачивая седоков, как в люльке.

На колонну наткнулись только ночью, вконец изнутив и себя и верблюда. Помог свет автомобильных фар, видный в степи за десяток километров...

Колонна шла тяжело, мучительно медленно, группами по несколько машин. Двух тракторов решительно не хватало, и шоферы попеременно выходили из кабин и подпирали плечами кузова. Наравне с шоферами принялись работать Алим и Курманов, переходя от одной машины к другой без передышки.

Бились всю ночь напролет. Алим отыхал не более получаса, когда отогнал верблюда на пикет Сарысу и... не устоял перед соблазном — проглотил пиалу чая. К утру мороз достиг сорока градусов. Замела поземка. Однако подоспел наконец один из тракторов; Алим повел его выручать Кожахмета и шофера, вытягивать из топи газик. В кабинке трактора Алим почувствовал, как измаялся, выбился из сил. Все тело болело, но на душе было светло: ночью он и Курманов сделали великое дело — отвели колонну со спасительным сеном прочь от солончаковой прорвы.

Уже на подходе к газику, который завиделся впереди, из снежной муты вынырнул другой газик, из него на ходу выскоцил Жарасов.

— О-пыр-ау, живой, что ли? Не обморозились? — кричал Жарасов, вглядываясь в лицо Алима. Оно было глянцевито-сизым и заметно опухло.

— Миленький Жарасов, ты ли это? До конца жизни не будет случая, чтобы ты был так нужен, как сейчас!

— Чувствую, друг. Сейчас у всех в сердце твои слова: главное — направление...

Выяснилось, что ночью по радио Карпов приказал Жарасову ехать навстречу Алиму.

Вчера днем по заданию из Баскента Петро на своем ЯКе разведал две дороги из трех, ведущих из Тасты, и доложил: ни на караванном пути, ни на большом тракте колонны Алима Еримбетова нет. Уже под вечер Петро с воздуха увидел машины с сеном на дороге через Сарысу в «Конекент». Жарасов и пошел с тракторами прямо на пикет Сарысу.

Когда совсем рассвело, над колонной, несмотря на поземку, опять появился ЯК-12. Он описал в воздухе круг и сбросил ярко-синий узелок, который упал между двух машин. В узелке была палка колбасы, видимо вместо груза, и записка:

«Если среди вас находится секретарь обкома Еримбетов и тов. Жарасов, отойдите все на пятьдесят метров в сторону от дороги».

Увязая в снежной целине, падая, люди пошли прочь от машин. И нелегко им дались эти пятьдесят шагов... Петро сделал еще три круга, ложась с крыла на крыло, показывая, что понял.

Жарасов энергично взялся за дело. Стосильные тракторы тянули так, что тросы пели, как струны. Часа через два-три машины приняли боевой строй: все вместе в кильватерной колонне, груз цел, отставших нет, обмороженных нет, настроение, пожалуй, даже бодрое.

И тут Жарасов охнул и присел на подножку газика — ступню правой ноги пронзила нестерпимая боль. Пришлось снимать на морозе сапог. В общем ничего страшного... Не заметил, как натер кровавые мозоли и сорвал их. Кровь сочилась так обильно, что сапог внутри был влажный. Накануне перевязали ногу широким бинтом из походной аптечки. Жарасов потуже замотал портянку и, прихрамывая, бросился к тракторам.

После изнурительной страдной ночи надо бы часок передохнуть, но шоферы не выпускали из рук баранок. Работали исступленно, самозабвенно. Еще усилие, еще рывок и — «Конекент»! А это означало выиграть бой, многотрудный, будничный и, казалось бы, нескончаемый бой за сено, за жизнь новорожденных ягнят и их маток, за каракуль, прочный, как овчина, прекрасный, как горностай.

4

В Узакский район прилетел Карпов. Первым, с кем он встретился, был секретарь райкома Есдаулетов. И тот, как говорится, не успев переступить порог, удрученно доложил: в районе пало пять тысяч овец.

— Позвольте,— сказал Карпов,— вы утверждали, что на двадцать пятое марта пало две с половиной тысячи, сейчас говорите — пять. В действительности их одиннадцать! Вы способны назвать верную цифру?

— Нил Петрович...— проговорил Есдаулетов, усиленно морща лоб,— в районе у меня шесть совхозов... Но заметьте, нигде, кроме совхоза «Конекент», вообще падежа нет. А в этом злосчастном совхозе за последние десять дней такое творится, что наутро вечерние сведения становятся ложью. Почему это происходит? — он развел короткими руками.— Надеюсь, что уж в вашем присутствии дознаемся!

— А ведь вы мешаете мне, Есдаулетов,— сказал Карпов.— Я приехал сюда не присутствовать... а для того, чтобы встретиться с джутом с глазу на глаз. Хочу видеть его истинное лицо. Знать: первое — размеры бедствия, второе — причины. Отчего у нас джут? Оттого, что нынче зима такая?.. Хочу понять, возможно ли все это в будущем году или еще через год и так до бесконечности, если март опять придет морозным и снежным? Вечно ли будет в степи джут? Может, это закономерность? Думали вы над этим?.. Я выезжаю в отары. Поедете со мной?

Есдаулетов, ошеломленный вопросами Карпова, особенно последним, засуетился.

— Как же, как же! Сам покажу...

Прежде всего Карпов поехал в совхоз «Конекент», и приняли его там не так, как осенью.

— Не видели мы в глаза вашей помощи! Где же вы были-то? По телефонам разговаривали? — с дрожью голосе воскликнул седобородый семидесятилетний чабан, неприязненно, почти враждебно глядя на Карпова.

— А вот этого человека вы видели? — спросил Карпов, показывая на Есдаулетова.

Чабан угрюмо, отчужденно покачал головой. Есдаулетова он не знал.

Тощие понурые овцы сгрудились у стены распахнутого настежь сарая. Хозяин сдирал с крыши солому и бросал ее прямо в пролом внутрь сарая своим овцам.

Карпов окликнул его и спросил:

— Кого из партийных работников вы знаете в лицо или по имени?

— Ходил тут один... переживал... Фамилия Жарасов.

— Жа-ра-сов? — подчеркнуто удивился Карпов.— Кто такой?

— Да это сосед... предрайисполкома... — со скрытым раздражением небрежно проговорил Есдаулетов.— Ноинского района.

— А вы какого будете района? — сухо осведомился Карпов.

Затем он побывал в отарах, которые зимовали в открытой степи. Там были заняты обычными хлопотами: мешали сено со жмыжками и солью, поили истощенных овец теплой водой. А люди из стационарного «Конекента» не на кочевке, у себя дома собирали трупы павших овец. В тот же день всплыло на поверхность то подспудное, чего «не было» в районе у Есдаулетова.

Вечером к Карпову явились два каких-то темных зборванца. Они неплохо понимали по-русски, но свои фамилии никак не могли внятно назвать и нелепо пугались; у них двоих было три фамилии — Олжабеков, Сармаков, Күшукбаев, если Карпов их правильно слышал... И профессия странных посетителей оставалась неясной, хотя один из них твердил «я чабан, я чабан», дыша в лицо Карпову винным перегаром. Они принесли заявления, из которых следовало, что директор совхоза Абды Есенов злостный обманщик, ворует государственное добро и вместе со своим шурьяком по-

леводом Сыпатаевым развалил совхоз, преступно истербил скот.

Следом за этими двумя жалобщиками пошли другие, и все они хулили Абды. За какой-нибудь час на столе Карпова выросла груда бумаг на русском и казахском языках, которые и до утра не разберешь.

Неприглядная картина разнужданной аульной склоки открывалась Карпову. Главные злопыхатели, братья Жанаевы, сами так и не показались секретарю обкома, но несомненно, что это они руководили из-за кулис сегодняшним налетом жалобщиков.

Карпов вспомнил встречу с Абды и его женой прошлой осенью. Девушка Камшат не пожелала выйти замуж за человека, предлагавшего за нее калым, а выбрала любимого и равного себе Абды. И что же? Целый район разился на два лагеря. Драка, точно между двумя родами в старину. Ярый сторонник Жанаевых бывший председатель райисполкома так расстарался, что был снят с работы в прошлом году. Ныне Жанаевы и их дружки играли на джуте и, видимо, рассчитывали отыграться. Все было пущено в ход, чтобы свалить Абды,— и подлоги, и наветы, и, конечно, неприглядные делишки. Кипа жалоб, по всему судя, только накипь.

Есдаулетов, как и следовало ожидать, стал валить все на голову снятого предрайисполкома. И вновь пустился в привычные заверенья: Абды поднимем... создадим авторитет. А вот насчет Камшат он обмолвился сгоряча почти бранно. Карпов не поверил своим ушам. Получалось так, что в гибели одиннадцати тысяч караульских овец, мало ли, много ли, а все-таки повинна милая молодая женщина, которая осмелилась выбрать любимого и достойного ее человека! И Карпов подумал, что второй раз, перелетев через Карагану, он натыкается на мусор и сорняки неизжитой, неискорененной патриархальщины.

На другой день новые неприглядные факты потрясли Карпова до глубины души. Войдя в юрту чабана, он увидел на кошме женщину в пальто, с обмотанной теплой шалью головой. Она лежала, прижимая к себе укутанного в одеяло новорожденного младенца. В юрте не было ни железной печурки, ни дров, и непонятно было, как в этом доме мать перепеленывает ребенка.

Пока ездили за печкой, Дамеш отводила душу в справедливом гневе:

— О нас здесь и не думают. Разве женщина человек? Живем хуже скотины.

А ведь Дамеш училась, окончила семилетку. Разве о такой жизни она мечтала! Первый ее ребенок умер, застудившись, и теперь она боялась за своего второго. Карпов слушал ее с содроганием.

— Ни доктора, ни тепла, ни тряпицы на пеленку. И этот умрет... — Дамеш заплакала. — Думаете, одна я такая несчастная? Поезжайте к моей соседке, если она еще жива.

Карпов немедля поехал туда, куда его послала Дамеш.

Жена веселого чабана Жоры из колхоза «Вперед» маялась одна-одинешенька в своей юрте. Ей было уже время родить, она вся отекла, но разродиться не могла, а рядом никого, кто мог бы ей помочь.

Не глядя на топчущегося у него за спиной Есдаулетова, Карпов отрывисто приказал ему доставить сюда акушерку.

— Нил Петрович... Я сейчас распоряжусь!

— Я уже распорядился, — раздельно выговорил Карпов. — Не теряйте времени. Берите мою машину. Даю вам тридцать минут.

И Карпов не ушел из юрты, пока Есдаулетов не вернулся с врачом.

Затем Карпов попросил показать ему Медета. Его нашли в бане в Сарыбастау. Парень держался тоже колюче.

— Я здесь на стажировке, — сказал он. — Получу характеристику и поеду в институт... А каково тем, кто всю жизнь у овечьей колыбели? Человек-то ведь не волк, человеку невозможно так жить, вы сами видели. Здесь есть знаменитая девушка Сагадат... Спросите, за что ее хвалят? За выносливость! Она постоянно так живет, как я прожил две недели.

И старики Жаксымбет и Косай, бывшие при этом разговоре, согласно кивали головой:

— Так, так.

Карпов внимательно слушал и каждое слово запоминал памятью ума и сердца. Эти люди, не дрогнув,

вынесли на своих плечах все тяготы джула, и то, что они говорили, было горькой правдой.

Последний вечер в Узакском районе Карпов провел с Алимом и Жарасовым. Они были ему по душе.

Алим Еримбетов больше месяца прожил среди чабанов под зимним степным небом и напоминал путника, который только что преодолел снежный перевал. Его голос звучал с хрипотцой, руки и лицо почернели, мягкие девичьи губы потрескались. Это и в самом деле был перевал в его жизни. Как и Жарасов, Алим бедовал с пастухами и по-настоящему узнал и людей, и пески, и самого себя. И был доволен собой. Таким он больше себе нравился.

Слушая веселые и злые рассказы товарищей о том, как они отогревали душу у степного костра, Карпов подумал, что жизнь нехудо подготовила этих ребят к руководящей работе. Они партработники на деле.

Но о том, что было у него самого на душе, Карпов покуда никому не открывал. Своей работой Нил Петрович был недоволен.

Утром на самолете он полетел в Ноинский район. В степи все жарче припекало солнце. Снег сошел. Земля заблестела талыми водами. И вдруг за одни сутки буйно, сказочно зацвела, словно наверстывая упущенное и награждая людей за любовь и верность.

Глава пятая

1

Южная весна; внезапная и дружная, щедро украсила дворик Айслу. Первым покрылся розовым цветом урюк. Набухли почки на яблонях, грушиах и персико-вых деревьях. На одних вот-вот развернутся клейкие листочки, другие опушатся цветами. Сад словно освещен улыбкой юности. Земля полна влажной прохлады. Рядом с остроносой туфлей Айслу тянулись из рыхлой земли ростки травы; они смотрели на девушку тысячами поблескивающих глаз, беззвучно говоря: а вот и мы тут!

В руках у Айслу раскрытая книга. Но она не читает, молча смотрит на цветы урюка, под которым сидит. На ее лицо и шею ложится зеленоватая тень вет-

вей, по щекам ползут слезы. И сегодня, как и вчера и позавчера, она сидит здесь и вспоминает, вспоминает... Вот так же, бывало, рано утром она садилась с книгой на низенький стульчик, Арман просыпался и спешил к ней своим легким шагом. Он устраивался полуляжа у ее ног, и мешая читать, бубнил и бубнил восторженно про то, что видел, а видел он небо, со склоненное из цветочных лепестков.

Оно было полно для него тайн и дивных дорог, о которых никто из простых смертных и не подозревал. Арман населил его мечтаниями, невероятными, немыслимыми, наивными и возвышенными. Айслу он их доверил, и она высмеивала их, радовалась им.

Всю зиму Айслу прожила, не выходя из дома, не отлучно от матери, добровольной пленицей своего горя. Айслу исхудала. Загар прошлой осени словно выцвел. Девушка была бледна. Ее руки потеряли прежнюю округлость. Тени под глазами сгустились. Глаза, серые, лучистые, были по-прежнему прекрасны, но и в них горел тосклиwyй свет долгого томительного недуга. Смотрели они отчужденно, как бы отстраняя окружающих от своего заветного, дорогого и горького. И только ее длинные толстые косы, то красновато-черные, то красно-золотые, напоминали, что она еще совсем девочка, которой к лицу радоваться, а не печалиться.

Долгое время Нурбубу боялась — помутится у дочки рассудок. Целыми днями Айслу молчала, безутешно плакала, ничего не ела. По ночам Нурбубу с бьющимся сердцем прислушивалась к дыханию дочери и убеждалась, что та не спит. Горе точило душу девушки, как медленный яд.

За ворота Айслу не выходила. То место, где был раздавлен брат, казалось ей западней, таящей в себе смертельную угрозу. И до боли в сердце, от которой хотелось кричать, она думала о том что еще ребенком Арман бегал по этой земле, поднимая пыль босыми ножонками. Это его земля, родная, как грудь матери, и на ней он погиб... Почему, когда колесо тяжелой машины накатывалось на него, земля не встала дыбом и не опрокинула машину? Почему замая погребла Армана, а не убийцу?

Тайком от матери Айслу перебирала книги брата, прижималась лицом, губами к тетрадям, исписанным

его старательным ребячым почерком, оставляя на страницах пятна слез.

Отчаяние овладевало Айслу. И уводило ее далеко. Она не могла избавиться от страшной мысли, что виновата в гибели Армана. Эта мысль гналась за ней и наяву и во сне.

Вновь и вновь Айслу видела брата, лежащего у садовой ограды, уже бездыханного, со сломанной грудью и незрячими глазами, и леденела от ужаса и сострадания. Мальчик, мечтательный, чистый, милый, мучительно родной, он не смел поднять головы, когда кого-нибудь невольно обижал. Он еще совсем не жил.

Отвращение, нестерпимая гадливость охватывали Айслу, когда она вспоминала, как тот, пахнущий водкой, волок ее вместе с одеялом по саду и рычал «люблю». Тупой, грубый, спесивый, грязный и безжалостный убийца, зачем он жив?

Ненависть загоралась в седце Айслу. Ее хотелось, чтобы был громкий суд, на котором люди сказали бы в полный голос, что это низость, подлость тащить девушку силой, позорить ее душу и тело, что это преступление. Ей хотелось, чтобы люди ожесточились к преступнику, к убийце, чтобы они требовали его казни. Ей хотелось, чтобы, подобно высокому небу, вознеслась справедливость и было бы сказано, твердо сказано, что Айслу неповинна в нелепой, чудовищной смерти брата и что ей нечего терзаться.

Но время шло, а суда не было. По аулу ползли слухи. И думалось бессонными ночами: а зачем жить, видеть небо, ходить по земле?

Мать скрывала свое. Поседевшая за одну зиму Нурбубу ревниво берегла одеяло, которым в последний раз укрывался Арман, и перепрятывала его в разные места. На подушке сына даже наволочку не сменила, и казалось ей, что подушка хранит слабый, как воспоминание, запах сына. Нурбубу ложилась под сыновье одеяло, обнимала его подушку, и ее худые плечи дрожали от беззвучных рыданий.

В последние дни Айслу как будто начала понемножку читать. Мать обрела надежду: книга — лекарь испытанный. Только бы Айслу читала... Только бы она ожила.

После утреннего чая пришел давний верный друг их семьи седой Танат. Сев у края дастархана, он по стариковскому обыкновению помянул Армана сурой из корана, поднося руки к лицу и молитвенно оглаживая щеки. Он пришел сообщить долгожданную весть.

— Суд будет. Скоро суд, говорят.

Нурбубу взволновалась.

— Давно пора... Воздать по заслугам... Снять с нас этот груз... Что же говорят?

— Он-то, свинья, стоит того, чтобы его казнить... Но такого приговора, кажется мне, не будет,— сказал Танат.

— Почему?

— Не знаю. Говорят, шоferа крепко накажут, а тому черномазому дадут легкое наказание.

— Как же так? Ведь виноватого знают!

— Мы-то знаем. А судят другие. Втихомолку мало ли что можно сотворить...

— Втихомолку? Что вы говорите!

— То и говорю, что у злодея, пройдохи, уж больно много везде своих: один брат родной, другой материн связ, тут сородич, там земляк, и все они судью обхаживают. Кто только не замешан! Бейсен, начальник, который водохранилище строит, и тот впутался. Это его дядя. Разные районные воротилы, потребкооперация, например, и бог весть еще кто. Все они заодно. Как говорится, рука руку моет. Сношиваются, что называется, рыло в рыло. Одним словом, сношенька, сдается мне, собираются они того подлеца обелить.

— Дедушка! — воскликнула Айслу, и в глазах ее был гнев.— Один раз этот человек уже посмеялся над всеми нами. И ничего ему не было... Неужели опять так будет? Как нам оплакивать Армана, если убийца выйдет сухим из воды, а память убитого отдадут на поругание? Что ж, так и сидеть сложа руки, проливая слезы?

— А куда идти, доченька, как хлопотать?

— Но есть же хорошие люди! Есть справедливость!

— Так-то оно так. Пойду...

— Надо в райком, к первому секретарю.

— Да ведь я в партии не состою, вот беда.

— А разве партия для одних партийных?

— И то верно, дочка... Пусть секретарь узнает, что я узнал. И что у нас на сердце. Нынче и пойду.

Нурбубу согласно кивала головой.

— Пусть бы и нас вызвали, у нас бы спросили.

В тот же день Танат отправился в райцентр. Въ спросив, когда секретарь приходит на работу, стари терпеливо дожидался его у здания райкома. Мухи Кольбаев знал в лицо многих колхозников. Увидев Таната, он радушно поздоровался с ним и повел к себе.

Секретарь был молод, строен, большеглаз. Коротко подстриженные волосы его еще блестели от утреннего умывания, полные губы ободряюще улыбались. Усадив аксакала, он почтительно спросил:

— По какому делу пожаловали?

— Я не за себя... — робко начал старик, неловко сидя на кончике стула, поглаживая сморщенной рукой край стола и исподлобья поглядывая на секретаря. — Я и не думал, что доведется вот беспокоить... и другого выхода нет. Если не к тебе, то к кому же обращаться, сам посуди.

— Говорите, говорите, слушаю вас, — отозвался Мухит, доставая из стола папку с отчетами и кладя ее перед собой.

— Я и говорю: не за себя пришел. Не за себя! — Танат кашлянул в смущении, то сутуля, то выпрямляя свою богатырскую спину. — Наверное, ты и сам наслышан о наших делах. Убили парня-то, единственного сына у Нурбубу, Армана. Убили его. Неужто не слыхал?

— Это прошлой осенью, что ли? Так ведь убийца оба давно сидят. Дело передано в суд.

— А вот, знаешь ли, оказывается, на суде-то... своего дела не разумеют! Поговаривают люди, что убийца присудят к легкому наказанию. А главную вину свалят на шофера. Злодей, кровопийца наперед знает, что пустяком отделается, так говорят.

— А не пустые ли это сплетни, аксакал? — мягко спросил секретарь, косясь на свою папку и выпячив толстые губы. — Суда еще не было, приговор не объявлен, а мы уже вон что подозреваем! Подумайте сами, имеем мы с вами право прийти и сказать избранного народом судье: «А, ты собираешься оправдать винного...»? Вы подумайте сами. Хорошо это будет?

Танат смешался и молчал. Рассуждения секретаря казались ему резонными. Уже готовый согласиться с ним, старик вспомнил про Айслу, про то, как она надеялась на него. И в душе выбранил себя за нерасторопность.

— Приговор еще не вынесен, верно,— сказал Танат.— Но когда его вынесут, будет поздно. И ты тоже подумай, секретарь: а что, если все, о чем люди говорят, правда? Если все так и есть и вправду они там сговорились — судья да промкооперация? Легко ли будет потом поправлять дело? И опять скажу: я не за себя... я за тех хлопочу, которые и по сей день плачут о сыне и брате кровавыми слезами. Хорошо бы тебе, товарищ Мухит, обратить на них внимание. Вот это будет хорошо.

Мухит собирался было разъяснить посетителю, что вмешиваться в дела суда противозаконно, но не хотелось говорить так официально с добрым бесхитростным стариком, который пришел в райком с открытой душой. Нужно, чтобы аксакал ушел довольным и успокоенным.

— Хорошо,— сказал Мухит,— я поговорю с товарищами. Спасибо, что пришли и высказали мне все начистоту. Это, конечно, полезно для дела.

Они распрашивались, и Танат ушел.

Через некоторое время секретарь райкома вызвал к себе прокурора Саматова. Тот был знаком с делом об убийстве до мельчайших подробностей.

Прежде всего Саматов осведомил секретаря о своих беседах со следователем и районным судьей Бекбаевым. И оказалось, что история эта гораздо более сложная, нежели думалось поначалу. С виду незначительные факты, тщательно собранные, искусно расшифрованные, словно сами собой сплетались в убедительную и правдоподобную картину, и какую!

Деловито хмурясь, приблизив к уху Мухита свое мясистое лицо с двойным подбородком, Саматов говорил многозначительно, вполголоса, словно поверяя секретарю сокровенную тайну.

Началось с того, что между молодыми людьми Сагитом и Айслу давно уже завязалась тайная любовь.

Вместе выросшие и дружившие с детских лет, они как это водится в юности, жили немирно, иной раз ссорились. Однако продолжали встречаться с глазами на глаза по ночам в доме у своих родичей.

Прошлым летом, встретившись здесь же, в райцентре, они опять поссорились, и казалось, окончательно и бесповоротно, как уже бывало между ними не раз... Затем Сагит пишет Айслу, видимо, прося у нее прощения, да не одно письмо, а несколько подряд. Парень мечтает возобновить дружбу. Кажется, и девушка наконец помирилась. Она не возражает, но и не отвечает. Сагит думает, что она его простила. Он опять пишет Айслу и настойчиво предлагает жениться на ней. Девушка и на это не возражает. Сагит думает что дело в том, что мать и брат противятся их браку и решает ночью потихоньку увезти Айслу. Разумеется, это было глупо с его стороны. Однако у современной молодежи принято сходиться без согласия и даже без ведома отцов-матерей. Сагит пишет девушке, что в такую-то ночь, в такой-то час он приедет за ней и увезет. И вот когда они уже шли вместе, чтобы сесть в машину, просыпается ее брат и учиняет драку. Он избивает Сагита, царапается, как камышовая кошка и Сагит, оставив девушку, бросается прочь, вскакивает в машину, и просит шофера: «Газуй, поехали!» Но брат девушки не унимается, открывает дверцу кабинки, пытается ухватиться за руль. Машина трогается. Брат девушки спрыгивает на землю, спотыкается и попадает под колеса. Несчастный случай... Вот что затемняет картину. А иначе судить следовало бы самого пострадавшего, если бы он был жив.

Опрошено множество свидетелей. Ясность полная. Удалось установить даже даты писем Сагита, адресованных девушке. Показания Сагита подтвердились.

Его пытались выставить преступником. Утверждали, что он хотел увезти девушку насильно — это при ее-то согласии! — избил всех в доме, а брата просто бросил под машину и сам же его переехал, как будто в машине не было шофера... Эта надуманная версия, как ни странно, родилась в милиции, а комсомол подхватил ее. Нашлись охотники поднять нездоровый шум. И мы на первых порах пошли на поводу и повели дело круто. Однако закон есть закон, а преступле-

ние есть преступление. Квалифицированное и беспри-
страстное следствие установило истину, отмело ложное
обвинение и фактический наговор. Сегодня суд распо-
лагает всесторонне проверенными данными.

— Я сам собирался вас проинформировать... — за-
ключил Саматов. — Могу заверить, все будет в полном
и строгом соответствии с уголовным кодексом. Факт
тот, что человек... так или иначе погиб. Виновные не
уйдут от ответственности. Приговор будет вынесен на-
родным судом публично, на открытом процессе с уча-
стием сторон. Не думаю, чтобы в данном случае
возникли какие-либо непредвиденные обстоятельства,
неизвестные суду или общественности.

Мухит слушал, испытывая глядя в лицо прокуро-
ру. Саматов человек, конечно, искушенный в своем
деле, многоопытный, видавший виды. Ни разу он не
вышел за рамки данных следствия, ни разу ни увлек-
ся и не дал воли своим эмоциям. Однако откуда же
такие подозрения у старого Таната? Странный все-таки
резонанс.

Мухит был в затруднении. Он говорил себе, что за-
кон не может руководствоваться чувством, тем более
чувством мести, что гнев и горе пострадавших не дол-
жны заслонить истины. Но слова Таната «не за себя
хлопочу...» не шли из ума секретаря. Старик ищет
правды, чует какую-то фальшь. И по-человечески Му-
хит сочувствовал несчастью.

— Убийство человека не шутка — сказал он нако-
нец. — Смерть молодого парня, сына погибшего фрон-
товика, страшное горе для его близких, оно касается
всех нас. Мы отвечаем за то, чтобы голос матери до-
шел до правосудия и чтобы не болтали потом досужие
языки: «И человека убил и от расплаты ушел». Что-
бы ни малейшая тень не легла на судью или на про-
курора. Чтобы люди ясно видели нелицеприятность,
доказательность, законность. Об этом я хочу предупре-
дить вас особо. Дело в ваших руках. Но народ с вас
глаз не спускает. Это вы запомните! Понимаете, о чем
толкую?

— Несомненно, несомненно, — ответил Саматов с
достоинством.

Ответом секретарь остался доволен. Ему не хоте-
лось и думать, что у прокурора могут быть свои тай-

ные планы или задние мысли. Мухит добивался того чтобы по району не шла дурная молва, чтобы все было в ажуре. И когда прокурор ушел, секретарь спокойно склонился над папкой с отчетами и сосредоточился на них.

На время и в самом деле слухи как будто бы при утихли... Айслу, Нурбубу и Танат доверились секретарю и терпеливо ждали суда. А между тем другая сторона действовала не покладая рук. Вокруг дела Сагита день за днем подспудно плелась хитрая и преступная интрига. Множество лживых языков на все лады склоняли имена Айслу и Сагита. Усердно тут потрудились и жирный братец Абильмажин, заправила промкооперации, и его дебелая супруга Асель, и другие родичи Сагита. Их было много.

Настал день суда. В тесном судебном зале полнился народу. Пришли колхозники, и стар и мал. Но первые ряды уверенно заняли, протолкавшись и потеснив других, люди, которых в колхозе не знали, люди Сагита.

Особняком сидел сутуловатый и тощий человек кости выпирали на лице, длинный тонкий нос поблескивал, как лезвие ножа. Это дядя Сагита по матери руководитель строительства оросительного канала на начальник СМУ Бейсен. У него вес и связи не только в своем районе, но и в соседних. Везде к нему относятся с величайшим почтением — человек нужный. Что может быть в степной местности дороже строительного леса, шифера, цемента? Много ли сюда завозят таких материалов, как гвозди, стекло, кровельное железо? А у Бейсена этого добра полны руки. А хлопок, посевы? Все, что растет в здешних краях, целиком зависит от орошения — арыков, каналов, плотин. И этому хозяйству во всерайонном масштабе начальник Бейсен.

Председатель райсуда Адиль Бекбаев — земляк Бейсена, а прокурор Саматов закадычный друг. Саматов и Бейсен так близко и так крепко сошлись, что их смело можно было считать родней. У этих людей общие интересы, взгляды и вкусы, общие секреты, общие дела, тайные давние связи и круговая порука,

повсюду в районе закинуты их удочки, расставлены их сети. Вот что за люди стояли за спиной Сагита.

Нурбубу и Айслу на суде не оробели, они не плачали, держались скромно и спокойно, говорили сдержанно, но решительно. И видно было, как схожи их характеры.

Сагит сидел по обыкновению всклокоченный. От долгого пребывания взаперти лицо его, лишенное загара, посерело, но было по-прежнему мясисто. Про таких говорят — мордастый. Узкими глазками из-под припухших век он уставился в сторону Айслу и больше ни на кого не обращал внимания. Даже отвечая на вопросы судьи, он не сводил взгляда с Айслу, и его глаза, казалось, говорили: «Увидеть и умереть».

Айслу чувствовала это, и гнев и отвращение с новой силой поднимались у нее в груди. «Не смей смотреть на меня, зверь, не стыдно ли смотреть на меня!» — думала она, вздрагивая и отворачиваясь.

Ее допрашивали поочередно судья и один из заседателей, представитель профсоюза, приехавший из Алтынсая, низкорослый пожилой казах с туповатым лицом. С усилием собирая складки на низеньком лбу, он донимал Айслу одними и теми же вопросами:

— Получали ли вы письма от обвиняемого до известного вам вечера? Сколько именно получили писем? По почте или через какого-либо человека? Было ли от обвиняемого письмо в день его приезда к вам на машине?

И Таната очень удивило, что ответила Айслу. Вместо того чтобы один раз отрезать: «Никаких писем я не получала и знать про них ничего не знаю!» — она сказала, что да, письма приходили. Это звучало как признание, и оно сразу ободрило и даже развеселило Абильмажина, Бейсена и их компанию.

В зале, в первых рядах, началось язвительное шушканье, раздались приглушенные смешки, на разгоряченных лицах замелькали ухмылки, особенно после того, как Айслу заявила, что писем она не читала. А судья словно не замечал шума в зале и не требовал тишины.

— Я их уничтожала, — сказала Айслу, — все от первого до последнего: рвала на клочки и выбрасывала. Как я могла читать письма от человека чужого, про-

тивного и даже ненавистного мне? Летом, когда я ей сказала: «Держись от меня подальше», — он меня удалил ножом. Это не человек, а зверь. С первой встречи он стал мне врагом. Получать от него письма я считала для себя позором. Поэтому я и рвала их.

Судья и заседатель со сморщенным лбом словно бы добродушно и снисходительно препирались с Айслу

— Так уж и рвала? Все подряд? Так уж и не прочла ни одного? Зачем же рвала? Разве вам не нужно не интересно было узнать о намерениях своего личного врага? Вряд ли найдется такой человек, который получив письмо, не вскроет его. А если вскроет, не ужто не прочтет хоть несколько строчек? Можно ли поверить, что вы даже из любопытства так-таки совсем и не вскрывали и не читали писем? Правдоподобно ли это?

Айслу настаивала на своем, она говорила правду. Но чем больше ее вынуждали подтверждать свои показания, тем менее правдоподобными они казались.

Сагит также твердил свое, но его так слушали, так допрашивали, что его показания казались достоверными.

— В первых письмах я просил у нее прощения, — говорил Сагит. — Пять писем ей послал, умолял прощать. Хотел, чтобы забыла ту глупость, которую я совершил летом, выпивши... сгоряча... Ответа не получил, ну и решил, что она меня простила. Каждый скажет, что простила...

И в этот момент Сагит, пожалуй, и впрямь думал как говорил: писал, просил и добился того, чего просил

— Я обрадовался, написал ей еще три письма. Давно я решил на ней жениться. Когда она меня простила, я и написал: выходи за меня замуж. Знал, что не откажет... Конечно, она гордая. На эти три письма тоже не ответила, чтобы меня помучить, забрать в свои руки. А сама согласна. Это каждый поймет, что со гласна... Тогда я написал ей еще два письма, что приеду за ней на машине и увезу. Написал, что приеду ночью, когда все будут спать, и просил ее лечь во дворе. Последнее письмо было в последний день... Она и сама не отказывается, что получила его. А что опять не ответила, так к этому мне не привыкать. Я знал, что она меня будет ждать. Каждый скажет, что будет...

Она и ждала. Как я ей наказывал, так и сделала. И в саду себе постелила и ждала!

Сагит говорил без запинки, и ему самому нравилось, как он говорил. В его словах то и дело прорывалась злоба, но ее можно было принять и за обиду. А из ловких реплик судьи следовало: грубоват парень, неотесан, зато весь нараспашку. Недаром Асель, часто посещавшая Сагита в тюрьме, учila его, как вести себя на суде. Вбила все-таки в голову недалекому парню, что от него требуется. И хотя по-прежнему спесь в нем играла, врал он складно.

— Арман сразу в драку. Я этого не хотел. Пальцем его не тронул. А он как с цепи сорвался. Не скажу, чтобы он меня избил, но все на мне изорвал, изодрал! Я и не помню, как вырвался из его рук. Все лицо у меня было в крови. Каждый скажет, что в крови... Вскакиваю в машину, говорю шоферу: «Трогай!» А Арман подскочил, вцепился в баранку, как клещ. Ну, шофер, конечно, его оттолкнул, повел машину, а тот, чудак, не отстает, виснет на чем попало. Видно, тут и стукнуло его углом кузова, он упал, а машина... у машины глаз нет... колесо по нему и проехало. Об этом я уже после узнал. А тогда я ничего не видел, да и шофер тоже не заметил. Оба мы были не в себе. Об одном мечтали — как бы от него отвязаться, поскольку уехать от этого скандала...

Затем допрашивали свидетелей. Их было несколько, все они подтверждали показания обвиняемого.

И вот суд ушел на совещание и огласил приговор. Прокурор требовал сурового наказания обвиняемым, но так странно излагал и мотивировал свое требование, будто в нем заключалось нечто чрезмерное, чисто формальное, а по сути даже противозаконное. Кроме того, прокурор перенес всю тяжесть вины на шофера, и суд согласился с прокурором. Одинокий жигит недавно приехал в этот район, у шо夫ера не было ни адвоката, ни добровольных защитников. Друзьям Айслу он был чужим, а друзья Сагита его предали. Приговор осуждал поведение Сагита, но признание Айслу в том, что она получала от него письма, было оценено как улика в пользу обвиняемого и смягчающее вину обстоятельство. А убийство?.. Его не было!

Сагит был осужден на три года тюремного заклю-

чения. Позднее оказалось, что большую часть срок ему скостили за счет различных амнистий и предварительного заключения, и выходило, что злодею, погасившему жизнь Армана, оставалось сидеть в тюрьм считанные месяцы.

Айслу и Нурбубу вышли из зала суда потрясенные, растерянные. Они не могли понять, что же случилось. Стало быть, прав был старый Танат и зря они надеялись на секретаря райкома Кольбаева? Небо над Айсл висело низкое, темное. И прошлой осенью и нынешне весной — обман, обман... Опять над ней зло посмеялись.

Придя домой, Айслу слегла. Губы ее были сжаты скорбно, как у старушки. В глазах не было света.

На другой день Айслу написала два письма: перво в Баскентский обком партии, второе в Алма-Ату старому другу покойного отца Жакену. Эти письма были первыми в ее жизни письмами, в которых она сетовала на несправедливость и обвиняла людей в нечестности. Писала она их холодно, сухо, без той горячей веры, к которой жила до гибели Армана.

2

Через неделю после суда в доме Нурбубу появилась неожиданная гостья.

Это была женщина выше среднего роста, с полной статной фигурой. Коротко подстриженные и тщательно причесанные волосы выгодно оттеняли ее миловидное лицо. Очки в изящной темной оправе придавали ей мягкость и серьезность. Губы слегка подкрашены с них не сходит приветливая теплая улыбка.

Придерживая локтем большую сумку, гостья остановилась на пороге, спрашивая разрешения войти. Айслу и Нурбубу не сразу узнали ее.

Однако замешательство было недолгим. Щеки Айслу вспыхнули.

— Тетушка Асия! Это вы, тетушка Асия... Как вам рада!

В один миг вспомнились счастливые дни в Алма-Ате, доброе знакомство с Асией в доме дяди Жакена, а затем другое знакомство — в доме отдыха с ее братом студентом медицинского института Ильясом. Плечи Айслу вздрогнули. Она разрыдалась. Асия, словно

старшая сестра, прижала к своей груди голову девушки, целуя ее в лоб, волосы и глаза, ласково утешая. Айслу притихла. Тогда и сама Асия, достав из сумки синий шелковый платок, вытерла свои узкие черные глаза.

— Я уже все знаю, все знаю, дорогие вы мои,—казала гостья.

Она приехала в южную область по командировке Президиума Верховного Совета Казахстана вместе с большой комиссией. Но, попав в Ленинский район и даже в колхоз «Красная звезда», Асия и не догадывалась, что Нурбубу и Айслу здешние жительницы.

Комиссия знакомилась на местах с семейным бытом, культурой и обычаями. Асия встречалась и беседовала прежде всего с молодежью и особенно с учительницами и вскоре стала среди них своим человеком.

У всех на устах, и в колхозе и в районе, было дело Сагита. Многие люди, и молодые и старики, говорили, что Сагит зверски убил хорошего парня. И вовсе убийца не был слепым орудием в руках темной матери, как это представлено в суде. Мальчик защищал сестру от насилия, а несправедливый приговор бросил на него и на всю семью позорную тень. Асии называли имя убитого, но лишь случайно она узнала, что Арман брат Айслу, сын Нурбубу.

Прошлым летом в Алма-Ате Асия приметила юную и скромную Айслу. И, разумеется, не заблудилась в лживых сплетнях об Айслу, как это случилось с Ильясом.

Учительницы местной школы имени Алтынсарина рассказывали Асии о гибели Армана, как о своем собственном семейном несчастье.

— Он никогда не пошел бы против воли своей сестры, если бы она действительно хотела выйти замуж. И его и сестру мы хорошо знаем. Они выросли у нас на руках. Это молодежь чистая, настоящая...

— И мать не пошла бы против воли дочери. Мы знаем эту семью, люди они дружные, скромные, работящие...

Асия слушала и думала: как же могло случиться, что все это не дошло до суда?

Старшеклассники, комсомольцы и комсомолки, так-

же в один голос говорили о том, как они и их родные возмущены приговором суда. Они, негодуя, задавали Асии недоуменные вопросы, которые хотелось бы задать им самим:

— Почему же не вмешается прокурор? А секретарь райкома, такой уважаемый большой человек! Почему Мухит-ага, Герой Социалистического Труда, не разберется, не заступится за людей?

— Не понимаю,— сказала Асия,— а вы-то, комсомольцы, почему вы молчите?

— Мы не молчим...— ответили ей.

Таким образом, Асия пришла к Нурбубу и ее дочери, уже зная, как сочувствуют им люди.

Нурбубу, понимая, что больше всего интересует гостью из столицы, спешила рассказать ей о дочери:

— Эти лжецы, хитрецы думали, что Айслу, моло-денькая, только со школьной скамьи, забоится, постыдится говорить перед всем народом. Они нарочно твердили об этих письмах и о том, о чем с девушкой матери с глазу на глаз порой нелегко говорить. Хотели ее запутать, засрамить. Однако зря старались, доченька моя не растерялась. Поняла, что не одну себя защищает, а всех своих сверстниц, и учительниц, и мать. Я сама от нее такой смелости не ожидала. Она прямо им сказала, не смущаясь, почему этот тип ей противен и почему не хотела марать руки о его письма. Любой нынешней девушке, говорит, такой человек не жених. У нашей молодежи другие понятия... Так и хлестала словами по бесстыжим глазам! И хотя несладко нам было на суде и после, я себе тогда сказала, что недаром жизнь прожила, вырастила заступницу, и отцу ее и брату не стыдно было бы за нее, и всем людям радость, что Айслу вот такая.

Айслу сидела, опустив голову.

— Я не думала показывать свою смелость,— сказала она глухо.— Сердце мое осиротело, тетушка Асия. Жить не хочется...

Асия и прежде любовалась Айслу, но теперь от глубоко и сильно пережитого горя девушка стала одухотворенней, и ее совершенная красота как бы излучала нежный свет. Асия, подобно своему брату, сравнивала Айслу с тем, что видела на полотнах прославленных мастеров кисти, и отдавала предпочтение этой живой

натуре... Дорого было, что такая девушка рождена и живет на земле отцов и дедов, и больно, что она несчастна.

Пожалуй, ни один художник не сможет так тонко оценить обаяние и прелесть женщины, как другая женщина, если посмотрит на нее добрым взглядом. Но прежде всего Асия была гражданином. Она хотела бы видеть в Айслу героиню нового романа, полного радости. То, что в наши дни славная колхозная девочка мечется в поисках правды, то, что сердце ее осиротело, было для Асии ее личным делом.

— Я недовольна тобой, девушка,— неожиданно сказала Асия.— Я недовольна вашей дочерью, мать.

И мать и дочь поняли ее. Они словно ждали от гостьи таких слов и в душе порадовались, что дождались.

— Тебе не хочется жить? — спросила Асия.— Прости меня, милый мой друг, ты не имеешь на это права! Я не скажу, что у тебя не было причин... я говорю, нет на это права! Ты почувствовала себя одинокой. Допускаю. Но позволь тебя спросить: что же это, однако, значит? Сидишь взаперти, в четырех стенах, как старушка или больная, плачешь, горюешь. Это тебе не пристало! На суде ты держалась достойно, сейчас не особенно... И вам скажу, Нурбубу,— добавила Асия,— все хорошие люди вокруг, и стар и млад, ваши друзья. Почкаче к ним захаживайте. Насколько помнится, Айслу собиралась в нынешнем году поступать в институт. Я думаю, и так же думает Жакен, наш общий друг и мудрый советчик, что Айслу будет отличной студенткой. Можем мы так думать?

— Да, тетушка Асия.

— Да, сестра милая.

И все трое вдруг заплакали — беспричинно, стесняясь друг друга.

Асия осталась в доме Нурбубу пить чай, потом обедать, и еще долго ей не хотелось уходить из этого дома.

Поначалу Асии казалось, что на суде все же произошло недоразумение. Она поехала в район к прокурору Саматову. Но тот не пожелал и разговаривать о деле Сагита.

— Дело Амирова уже решено. Пересматривать его

вправе лишь вышестоящий суд, в данном случае областной. Вы человек посторонний, нездешний. И вообще, если стать на официальную почву, ваша командировка не имеет отношения к данному делу. Ревизовать судебные решения вне ваших полномочий. И я не вправе позволить вам это. А неофициально... дивлюсь вам! И предостерегаю: не идите на поводу у уличных сплетен и праздной болтовни непричастных к делу людей. Не дайте себя увлечь. Заверяю вас, что органы суда и прокуратуры, облеченные доверием, знают свою ответственность и должным образом оберегают советскую законность и честь нашего правосудия. Нет никакой нужды в опеке со стороны.

И странное дело, рассуждения этого большеголового и полнолицего человека с покрасневшими от постоянного чтения бумаг глазами были убедительны, а его уверенность и категорический тон оправданы. Нет, он не выступает против мнения общественности, он сам призван своей повседневной работой формировать его. И тут нужна принципиальность, а подчас большая выдержка, особенно если дело такое тонкое и деликатное, как дело Сагита Амирова.

— Видите ли, ваши слова о законе и правосудии для нас не откровение, это как раз те уроки, которые мы сами преподаем населению. А вот скромно ли это с вашей стороны? — спросил Саматов. И вид у него был суровый, инспекторский.

Асия ушла от него с острым чувством недоверия. «Чинуша? — думала она.— Несомненно. А может, и преступник».

Асия пошла в райком партии. Ее принял первый секретарь Мухит Кольбаев; с ним Асия была прямая и откровенна. Она сказала, что дело Сагита, как оказывается, отнюдь не частный случай, оно обнажило гнойник, существующий на виду у райкома. Она сказала, что в данном случае райком остался глух к голосу народа. Она хотела понять, как такое могло случиться, а затем объяснить людям. В этом она видела свой общественный и партийный долг.

— Документы смотрели? Документы в порядке? — вдруг спросил Кольбаев.

Асия смолкла, удивленная. Саматов не показывал ей бумаг. Но нет сомнения, что бумаги у него «в по-

рядке». Они-то у него без сучка без задоринки. Это волк матерый. Может ли быть, что саматовские бумаги главное, что сейчас волнует секретаря райкома?

Да, по-видимому, так оно и было.

Саматов опередил Асию, он уже звонил Кольбаеву по телефону, пока она шла в райком. Давно ли Мухит умно и властно внушал Саматову, как должно отвечать перед народом. Теперь Саматов внушал Мухиту (или, как говорят аппаратчики, подсказывал), как ему отвечать Асии... И тот был доволен, что прокурор вовремя позвонил, информировал.

Кольбаев, конечно, понимал, что серьезно ошибся в Саматове, но не любил, когда другие замечали его ошибки. И Саматов знал это. Раз дело сделано за спиной Кольбаева, он будет думать больше о своей спине, чем о деле.

В прошлом году Мухит Кольбаев стал Героем Социалистического Труда — его район с лихвой дал план по хлопку, а затем и по животноводству, по мясу, молоку и шерсти. Ныне непрощенная столичная гостья грозила испортить всю картину. Однако лукавый Саматов в двух-трех словах, прозрачными намеками подсказал ему удобную и даже лестную позицию.

В самом деле! Хотя Асия и член партии и товарищ из центра, все-таки она, что там ни говори, женщина. Потому-то она верит слезливой мамаше Нурбубу, и той гордой девчонке Айслу, да всяким учительницам и не доверяет мужчинам. Такова уж женская природа. Сама того не сознавая, Асия поддалась обыкновенной бабьей жалости, а должного понимания от нее не жди. Вот как она оказывается — извечная односторонность и пристрастность женской натуры. Сердца-то у нас много, ума маловато. Женщины мастерицы ставить вопросы с ног на голову.

Так Кольбаев легко, быстро и крепко убедил себя в том, что оправдываться ему не в чем и не перед кем.

— Партия и правительство доверяют нам дела и потрудней,—сказал он.— Вы в нашем районе впервые, нашей работы не знаете и, насколько мне известно, не интересуетесь... С ходу самовольно вмешиваетесь... И во что? В дела прокуратуры! Может, вы прокурорский надзор? Приносите в райком женские жалобы... Мы не

против, послушаем и женщин. Но, не проверив, не вдумавшись, на основании одних разговоров, вопреки фактам критиковать судебные органы, поносить авторитетных людей, ответственных партийных работников... Извините, дорогой товарищ! Вы много говорите о законности, справедливости. А разве это законно, справедливо?

Желая оправдаться, Кольбаев и не заметил, как увлекся и сам пустился в обвинения. Пожалуй, в этом было больше бабьего, чем положено истинному мужу, да еще на секретарском посту.

Асия не раз встречалась с работниками подобного толка. Но никак не ожидала, что Кольбаев такой. Комсомольцы называли его «большим» человеком...

Не дослушав его, Асия встала и ушла.

На другой день она была в Баскенте и тотчас позвонила по междугородному в Алма-Ату Жакену. Он уже получил письмо Айслу.

— Я тоже думаю поехать в Баскент,— сказал Жакен,— на старости лет погоняться за правдой. Как вы думаете, смогу я быть полезным в этом деле?

Асия засмеялась. Жакен-ага любил пошутить.

Старый Танат уважал власть, но понял, что зря она дана Мухиту Кольбаеву. Обманул секретарь аксакала. Попрекать Мухита старик не пожелал, а поехал прямиком в Баскент. Осмелел от великой обиды и за себя, и за людей, и за власть, которую Мухит осрамил.

Не спеша шагал Танат по широкой асфальтированной Советской улице в тени цветущих фруктовых деревьев, прислушивался к лепету воды в арыках и с любопытством рассматривал непомерно высокие дома.

Здание обкома партии выделялось среди других, изящество и легкость сочетались в нем с фундаментальностью, и Танат остался им доволен: достойное помещение для руководства!

Бесчисленные машины, стремительно сновавшие по улице, оглушали старика. Пронзительный запах бензина отбил аромат листвы, цветов и трав на громадных клумбах и газонах, похожих на скошенный луг. Ничего подобного он в жизни не видывал. Восхищали его арыки. Конечно, арыки есть и в кишлаках, но они там

кие, кривые, зачастую с пересохшим руслом. Вода них бурая от густой уличной пыли. А здесь она проячна, от нее веет свежестью. И улицы-то чисты, как олы в доме.

Уже несколько дней Танат жил в Баскенте и не становил бродить по городу, дивясь на каждом шагу. дешние люди встают не так рано, как деревенские. Танат просыпался раньше всех, кто жил в доме, где он становился, выходил во двор, затем на улицу, смотрел и думал: сильна необъятная казахская степь, а здесь и в городе какая сила! Сила людская, машинная каменностенная...

Впервые в обком его отвела пожилая хозяйка дома. сегодня он шел один. В прошлый раз, едва перетащив порог обкома, он рассказал о своем деле илиционеру, стоявшему внизу у лестницы. Но тот, выслушав со вниманием, сказал, что секретарь обкома ехал в район, а Танат хотел только к секретарю. Сегодня милиционер сразу пропустил старика, указав на широкую лестницу, ведущую на второй этаж.

Танат попал в большую комнату, в которой сидели три сотрудницы, каждая за своим столом. Одна из них, казашка, по фамилии Шалкарова, с первых слов расположила к себе старика. Это была худенькая женщина с тонким лицом, на котором играл легкий красовато-коричневый румянец, и с длинной косой, запрученной на затылке. Она понимала, что человеку из ишлака надо все объяснить не спеша и по порядку. Ей было легко разговаривать. Тем не менее Танат не открылся, сказал только, что имеет устную жалобу или просьбу к самому товарищу секретарю. Старик не решался выложить все сразу, чего доброго, еще танут ему мешать... Уж коли приехал издалека, надо побориваться к главному — так говорили ему и в колхозе и здешние советчики. Казашка тоже называлась секретарем, но, видимо, тот секретарь партии, а Шалкарова — этой приемной комнаты.

— Сейчас товарищ Жайлыбеков вас примет, — сказала Шалкарова. — Вы к нему пойдете и обо всем поговорите. Но прежде он спросит у меня, кто вы такой и по какому делу приехали. Что я ему отвечу?

В маленьких выцветших глазах старика мелькнула ответная усмешка.

— Но потом-то ты меня пропустишь?.. — спросил он. — Недаром, должно быть, говорят: верь тому, кто с лицом светел. Сдается мне, что ты не обманешь.

— Не обману, дед.

— Тогда слушай, — улыбка сползла с морщинистого лица Таната, глаза посуревели. — Я приехал из-за убийства человека, а он еще и пожить-то не успел, мальчик. Отец его был человек мне родной. Он погиб на войне. Когда уходил на фронт, сынок еще грудь у матери сосал. А у того, который его убил, в районе уж больно много пособников, всяких подручных. Они его вызволили из тюрьмы, избавив от кары. А мальчик-то убит. Мать и сестра извелись с горя. В районе нашем что-то не так, как должно быть. Вот и послали меня люди сюда, в обком. Я и приехал. А теперь сделай, что обещала. Я тебе уж достаточно сказал.

Не прошло и четверти часа, как Шалкарова проводил Таната к Алмасбеку Жайлыбекову.

— Есть у нас справедливость или нет, скажи, обком! Я ищу эту самую справедливость. Если нет ее, так и скажи прямо. Нет, мол, отец, иди домой! Я и уйду с миром, — так начал Танат, поклонившись Жайлыбекову.

Но Жайлыбеков держался так, будто хорошо знал его дело. Может, Шалкарова ему рассказала? Нет, Жайлыбеков явно знал о его деле больше, чем она. Умел секретарь расположить к себе, хотя и был молод. Его большие глаза смотрели с участием и вниманием.

— Думаю, что уходить вам не надо, аксакал, — сказал он. — Поговорим сначала.

— Вот утешил, спасибо! — проговорил старик с шутливым вздохом. — А я-то уж было подумал, что справедливость откочевала за далекие перевалы.

Жайлыбеков одобрительно улыбнулся.

— А вы уж во многих местах побывали? — спросил он. — И нигде ее не нашли? Где же вы ее искали, аксакал?

— Скажу, скажу! Всех назову... Иначе и ездить сюда не стоило бы. Считайте: во-первых, нет правды у прокурора, во-вторых, в суде. Ну и, как говорят, очередь героя третья: не нашел я справедливости в

самом райкоме. Если бы она там была, незачем мне было бы и трогаться из района да тревожить тебя. Зачем обком, коли есть райком? А если райкома нет?

Жайлыбеков беседовал с Танатом больше часа. Затем вызвал Шалкарому. Теперь Алмасбек был хмур, его взгляд стал острым, пристальным и недобрый.

— Все, что рассказывает аксакал, запишите. Подготовьте русский перевод для Нила Петровича. Бросьте все дела, займитесь в первую очередь этим.

Жайлыбеков торопился. Попрощавшись с Танатом, он отправился к Карпову.

— Знаете ли, что мне вспомнилось? — заметил Карпов, выслушав Жайлыбекова.

Алмасбек понимающе и удрученно склонил голову. Нил Петрович имел в виду, конечно, Баба-Ату, где они были вместе прошлой осенью, и женщину, по имени Алуа, жившую там полвека назад.

— Запущен у нас этот вопрос, запущен, — сказал Карпов. — Старые пережитки в нашем быту — это тот же джут, но не в степи, а в людских душах. Беда. Она грозит нам большими потерями...

Из приемной доложили, что пришла Асия Алимова, и Карпов немедленно пригласил ее.

Он обрадовался, узнав, что она в Баскенте. Вот человек, который был ему сейчас нужен.

Карпов не забыл встречи с Асией в прошлом году в доме отдыха в горах, где они так откровенно спорили. Асия произвела на него впечатление человека большой культуры. Пришлись ему по вкусу и ее резкость и настойчивость.

Асия также мысленно выделила Карпова из ряда многих знакомых ей ответственных работников. В нем чувствовались неподдельная и ненаигранная светлая сила истинной человечности, истинной партийности и большой жизненный опыт, который прежде всего ценишь в человеке. Собственно, их беседы в прошлом году были не так уж продолжительны, но какая теплота исходила от этого «новичка», как он себя тогда называл. Он покорял своей заинтересованностью и сам оказался на редкость интересен. И хотя обкомовские секретари-казахи, очень дельные, такие, как Жайлыбеков, казалось бы, должны были скорее ее понять, она позвонила Карпову. И не пожалела об этом.

— Итак? — спросил он, пожав ей руку и усадив, не тратя времени на лишние церемонии.

— Пришла к вам не с пустыми руками,— ответила Асия, — но, откровенно говоря, Нил Петрович, порадовать вас нечем.

Карпов улыбнулся ей горячими синими глазами.

— В таком случае вы угадали, чего я от вас жду.

Асия начала свой рассказ. Она многое видела, слышала, поняла. На редкость тяжелы и цепки в степных краях пережитки в быту. Но вспомним, как долго господствовали здесь религия и духовенство и какие у них были глубокие корни. Ишаны, шейхи-хаджи и прочие «вероучители» веками хозяйствничали в бесчисленных мечетях и медресе, возводили мазары, устраивали паломничества. Оголтелые фанатики, невежды, прожорливые и жестокие плуты распоряжались умами и душами многих поколений. Недаром говорится в народе, что в Сайраме святых много, в Туркестане — тьма, а святей всех святых Арыстан бап. Где же этот несравненный Арыстан бап? В Шаульдерском районе вашей области, Нил Петрович! А в Ноинском, например, еще недавно безраздельно властвовал хитрый и жестокий хазрет Ак-Ишан. И даже в таком отдаленном районе, как Узакский, за горами Карагатау, имеются свои «святые» места. К вашему сведению, Бабатукты, Шашты Азиз, Баба-Ата, Балыкты... Между прочим, в районе Ташкента находится местечко, названное по имени Кожахмета Ясави; когда-то он распространял среди мусульман Средней Азии свои приказы от имени самого всевышнего. Имеется еще могила Зенги-бабы, и только. А здесь, в степи, в одной южной области размещены покой и усыпальницы святых, хазретов и ишанов, которых хватило бы на целое богообязненное государство.

Легко ли освободиться и очиститься от такого наследства? Темные предрассудки и чуждые нам нравы, грязные делишки, а подчас и мрачные преступления растут, как сорняки, и душат все кругом, если их не полоть.

Во всех районах области мало кто из девочек продолжает учебу после седьмого класса. Их рано выдают замуж, и притом по воле и выбору отцов и матерей. А воля отцов и матерей частенько соединяет жениха

невесту отнюдь не бескорыстно. Дурной обычай прошлого — покупать благословение родителей за казым — скрыто бытует и по сей день, поистине как проклятие. Нередко бывает, что девушка за ослушание подвергается оскорблению, наказанию, попадает в безыходное, трагическое положение. Слышали ли здесь, Баскенте, как, скажем, «сватался» некто Сагит к девушке Айслу?

Карпов коротко кивнул. И, словно захваченный юдом мысли Асии, сам заговорил о том, что их обоих волновало. Асия сразу же с одобрением ответила про себя, что его наблюдения шире, а выводы смелей.

Заботила Карпова жизнь людей, занятых отгонным животноводством. Он говорил о том, что в казахских степных районах, Ноинском, Узакском, Шаульдерском, Желесском, и даже в трех хлопковых районах юга почти нет родильных домов. Есть районы — целые районы! — где не найдешь ни детских садов, ни яслей. Знайт, женщина всецело в пленау домашнего очага. И по сути, не может участвовать в общественном труде. А где неравноправие в труде, там и неравноправие в семье — это правило старое... Многие оседлые колхозники по старинке живут еще в войлочных юртах, а с юртой связаны всяческие пережитки кочевья. Что же сказать о пастухах, кочующих по сей день? Те живут неизбежно в юртах, но еще разбросанно, вдали друг от друга, и тут положение женщин особенно тяжелое. Врачебной помощи мало. Не хватает самой элементарной гигиены.

— Я видел на лице у ребятишек чесотку, а то и паршу на голове. Стыдно сказать, бани там такая же редкость, как дворцы. Попросту их нет на отгоне. И это в дни семилетки! Штука-то, между прочим, серьезная: способ хозяйствования тянет за собой свой быт... Как это все в корне, в корне изменить? Сколько мы будем на этот счет думать и гадать? — спросил самого себя Карпов и требовательно оглядел своих собеседников, словно говоря: судите меня строже.

Но Жайлыбеков и во взгляде и в голосе Нила Петровича почувствовал особый смысл: видимо, на этот счет у первого секретаря зреет важное трудное решение, он его выверяет.

— Заметьте,— сказал Алмасбек,— как изворачивается и приспосабливается старина к новым условиям. Древние обычай живут на новый лад. Уж коли говорить прямо, недоучившихся девушек, послушных воле отцов и матерей, по-прежнему продают и покупают. Разумеется, внешне это совсем не купля-продажа. Родители обеих сторон договариваются. И однажды жигит по указанию отца как будто бы тайком увозит девушку, которую он до той поры и в глаза не видел! Проходит дней двадцать или месяц, и «виновные» едут к родителям девушки «просить прощения». Те прощают, устраивают свадьбу. Под видом денег на расходы по свадьбе родители получают за девушку калым — десять-двадцать тысяч рублей. А в приданую — овец, корову, а то и коня. После свадьбы проходит еще двадцать дней. Тогда мать молодухи со своими родичами едет к родителям новобрачного. При этом привозят приданое... Таким путем стороны рассчитываются. Разумеется, заранее известно, кто сколько получит денег, коров, овец, сундуков, одеял. И все освящается родительским благословением. Вы помните, Нил Петрович, мы с вами в поездках по районам не раз видели такое приданое. Оно иногда занимает целую стену, от пола до потолка. Приглядитесь, что за вещи в домах у иных учителей, молодых бригадиров, а то и председателей... Таких вещей в магазинах не продают. Обитые жестью сундуки, огромные подушки в вышитых наволочках, по-особому простеганные одеяла. Ручная работа аульных мастерниц. Кустарная роскошь по особому заказу. Если такие вещи, к тому же новенькие, окажутся в доме молодоженов, это неспроста. Значит, есть приданое, был калым! И ведь так делается не только у нас... В прошлом году летом я побывал в Киргизии, в поселке Чолпон-Ата на берегу Иссык-Куля. В одной киргизской семье справляли свадьбу. И что же оказывается? Сын накануне тайком привез невесту. Сваха заранее свела родителей обеих сторон, а парень своей невесты и знать не знал. Однако послали — поехал. Под вечер и привез девицу. Договорились за пять тысяч, одного коня, пять овец и пятьдесят бутылок водки... И в Киргизии и у нас, насколько я слышал, на невест имеется негласная расценка: за дочь колхозного бригадира дают пятнадцать тысяч рублей, а за дочь

председателя колхоза двадцать пять. Вот какие ходят анекдоты!

Карпов быстро записал в раскрытом большом блокноте справа от себя: 15 и 25.

— Необходимо привлечь девушек к механизации,— сказал он.— В кратчайший срок хотя бы в трех хлопковых районах организовать курсы механизаторов и обучить там по меньшей мере триста казашек. И в Баскенте на предприятиях найдется подходящая работа для женщин: на текстильной фабрике, на заводе пресс-автоматов, на маслю-молочном комбинате, на химфармзаводе. Почему там мало казашек из аулов? Надо дать им специальность, открыть для них ФЗУ, устроить отдельные общежития, наладить культработу. Товарищ Жайлыбеков, возьмите-ка вы это дело в крепкие хозяйственные руки. Научите трудрезерв уважать женский пол.

Асия хотела было напомнить о школах, но Карпов сказал, как уже о давно продуманном и решенном:

— В том году надо добиться, чтобы все девочки окончили среднюю школу. Видимо, будет специальное решение обкома на ближайшем пленуме.

— Я-то думала помочь вам,— с веселой признательностью проговорила Асия.— А вы с Алмасбеком больше моего знаете.

— Хотела похвалить,— лукаво заметил Алмасбек,— а сама созналась, что была о нас весьма невысокого мнения.

— За мужскими делами иной раз о женском вопросе можно и запамятовать,— сказала Асия, смеясь.— Спасибо вам!

Карпов молчал. «Решение самое здравое,— думал он,— еще полдела, если оно не прикрытие для безделья... Благодарить пока не за что».

— К вам два вопроса, Асия Алимовна,— сказал он.— Первый: что из себя представляет Сагит? Как будто молодой парень передовой профессии? Возможно, комсомолец?

Асия ждала расспросов, и ей понравилось, с какого конца Нил Петрович начал.

— Нет,— ответила она,— он не комсомолец, он скотина. Мне кажется, я разобралась в его психологии, это не так уж трудно. Сам он вряд ли страдает склон-

ностью к самоанализу, а тем более самокритичность. Самонадеянный, самовлюбленный и мрачный тип. Неверно, никогда в жизни не дружил с девушкой и понимал дружбы с женщиной. Замкнут, груб, неулюж, но особого мнения о своих мужских достоинствах. В семье любимец и баловень. Конечно, никогда с кем не советовался, не делился, никому не открывал своих чувств и мыслей и не испытывал в это нужды. К тому же еще и пил, не чувствуя на себя узды. Хвастал своей физической силой, круглыми бщепсами, поскольку больше хвастать было нечем. Деятельно, работал в районе гидротехником, но приобрел в этой роли ничего, кроме спеси. Заслуг нажил, а жадность унаследовал с материнским молком. В семье у этого парня заправляет старуха мат женщина корыстолюбивая, с самыми отсталыми, потопными взглядами. Второе лицо в доме — невестка жена старшего брата, тупая и самодовольная бездельница, однако мастерица и любительница загреба блага жизни. Отвратительные создания, скажу я вам. Старший брат из того же теста. Вот какие корешки у этого самого Сагита. А кто такая Айслу? Дочь вдовы. Нет у девчонки ни отца, ни старшего брата. Таку только пожелай — и бери без всяких церемоний! Жгиту и в голову не приходило, что его могут презирать. Представьте, унизился даже до того, что говорил девушке «большие» слова, говорил, что любит. И на суде и свидетели, и судьи, и прокурор говорили, что он любит. Много говорили о любви.

— Так,— сказал Карпов.— И второй вопрос к вам Асия Алимовна, возможно, потрудней: что такое Колбаев?

— К сожалению, к большому сожалению,— ответила она,— в деле Сагита Мухит Кольбаев сам себя представил вне партии.

3

Бюро обкома собралось с большим активом хозяйственников и партийных работников районов.

Небольшой зал заседаний был заполнен до отказа: но не слышно было ни шепота, ни шороха. Лишь изредка прорывался неодобрительный гул.

Лицо Карпова казалось холодным и замкнутым, внутренняя собранность отражалась в каждой его черте. Председатель облисполкома Ахан Султанов хмурился, плотно сжав тонкие губы. Секретари обкома Алим Еримбеков и Алмасбек Жайлыбеков сидели рядом, не глядя друг на друга, будто были в ссоре.

Выступал секретарь Узакского райкома Есадаuletов, грузно навалясь на трибуну. Его толстое, побитое осью лицо было бледно, двойной подбородок вздрагивал. Есадаuletову приходилось туго. Он понимал, чего от него ждут, но не мог перебороть себя и многословно распространялся о трудностях и объективных причинах. Он и сегодня тщился рассказывать о достижениях, не о потерях, без конца петлял, путался и походил на заблудившегося путника, который вновь и вновь возвращается по собственному следу. Слушать его было тошно. И в зале вопросительно переглядывались: почему бюро так долго терпит эти разглагольствования?

Карпов не перебивал Есадаuletова, но видно было, что он с трудом сдерживается.

Наконец Ахан Султанов, метнув на оратора косой взгляд, вскрикнул:

— Скажи, сколько погубил скота! Все равно правду не скроешь!

Собрание ждало этого вопроса, и хотя никто не проронил ни слова, скрипнули стулья, словно люди одновременно подались вперед.

Обильный пот выступил на лбу Есадаuletова и залистал в морщинах.

— Двадцать тысяч голов... — пробормотал он глухо.

— Все каракульские овцы?

— Да, все.

Общий тяжелый вздох прокатился по залу. Никто не ожидал услышать такой ошеломляющей цифры. Сколько золотой валютыпущено на ветер!

— Какая же цена после этого твоим словам... — с сердцем проговорил Султанов, — и сейчас, и раньше, и в будущем... если тебе и впредь позволить сыпать словами? Что ты нам говорил осенью, зимой? Не помнишь?

— Помню. Отлично, — сказал Есадаuletов твердо.

— Кто же повинен в потерях?

— Люди, конечно, люди. Мне кажется, это все уяснили. Раз нам доверили, мы отвечаем. А партия спрашива: знает, как и с кого взыскать! — и Есдаулетов бодро потряс кулаком.

Расчет его был прост: прежде всего не признавать, что падеж скота был из-за нехватки кормов... Корма он обеспечил! А вот люди... не справились. Он один, а их великое множество. Возникала лестница пропусков и взысканий. Пока по ней доберутся до головы, сила карающей руки ослабеет. Себя Есдаулетов считал головой, а для битья назначено место по-ниже...

Есдаулетов чувствовал в зале отчуждение и видел отсутствующие взгляды товарищей. Но он сказал, что хотел, и бюро обкома его выслушало.

Наступила очередь секретаря Ноянского райкома Касымова.

Высокий молодой человек с мягкими кудрявыми волосами и открытым обветренным лицом легко поднялся с места. Он начал с того, что Есдаулетов сказал под конец. Говорил Касымов кратко, и с первых его слов в зале возникло ощущение деловитости и неподдельной страстной заинтересованности.

— Мы потеряли девять тысяч овец. Все породистые... Ну, то, какая была зима, обрисовал товарищ Есдаулетов. Но только ли в ней наша беда? Началось с моей собственной грубой ошибки. Не следовало трогать скот из песков. Потерь было бы меньше. В начале марта я дал команду откочевывать, хотя и знал, что прогноз погоды плохой. Овцы у нас никогда не ягнились в песках, и я рассчитывал, что они успеют до окота добраться домой, и люди вроде бы стремились под районный кров... Я действовал по старинке — мол, иначе нельзя, а следовало бы в первую очередь мне думать головой. Если хотите, тут сказалась прямая робость перед новой, трудной и опасной обстановкой, инерция, которая нам дорого обошлась. Как это ни обидно сознавать, мы не проявили гибкости, находчивости и прозорливости. И как бы ни был велик наш труд, наше старание после моей ошибки,— девять тысяч голов... Хотелось бы высказаться по более общим вопросам, но, честно говоря, мне не до того. Некогда было осмотреться, задуматься, а ведь это главное.

Если мы не научимся думать и в хорошую погоду и в джут, то какие же мы партработники?

Лицо Карпова прояснилось. И плотно сжатые тонкие губы Ахана Султанова словно бы смягчились. В зале одобрительно кивали головами.

— А хитер, ничего не скажешь... — шепнул Жарасову щупленький чернявый секретарь Кировского райкома Турымбетов, поблескивая умными смеющимися глазами. — Здесь, дрожа да оглядываясь, душу свою не спасешь. С головой парень!

— А не перехватил? Не много ли на себя берет? — усомнился Жарасов и сам себя выштил: — Ну, куда кривая вывезет! Где наша не пропадала!

Он был готов ответить за свою работу, привык отвечать, и совесть его была чиста. Вряд ли кто в этом зале мог бы сказать, что потрудился и намучился во время джуна крепче Жарасова. Лишь последние слова Касымова неожиданно больно кольнули. Но прав секретарь: думали мало, больше плечами ворочали...

Карпов дал слово Алиму Еримбетову, и Жарасов непроизвольно улыбнулся своему товарищу по мытарствам в степи.

В весенние дни в Баскенте Алим преобразился. От зимней худобы не осталось и следа, а красный степной загар походил на румянец. Вид у Алима был щеголоватый. Серый костюм не морщился на его ладной фигуре, строгий галстук темнел на крахмальной сорочке. В его больших чуть навыкате глазах светилась легкая усмешка. Он говорил уверенно, звучным голосом, и сейчас, на трибуне, показался Жарасову словно бы не таким знакомым и, пожалуй, не таким близким, как зимой.

На первый взгляд казалось, что Алим Еримбетов весело настроен, но в его мнимо шутливых словах крылась острая горечь.

— Насколько помнится, Черноголовый дул на всех одинаково, — сказал Алим, — и на местных и на командировочных, не разбирая чина и звания, возраста и пола. Но не надо забывать, что Узакский район подвергся джуну на своей земле, а Ноянский — на соседской. Одни были у себя дома, другие, что называется, в гостях. А на поверку вышло, что хозяева потерпели урон в двадцать тысяч голов, а гости в девять. Вна-

чале хозяева выручали гостей, а под конец гости спасали хозяев... Однако этим еще не все сказано. Если внимательней присмотреться, вот, Нил Петрович, какой получается конфуз: те, кто больше потерял, оказываются, записывают на свой счет известную выгоду а те, кто меньше,— дополнительный урон!

В зале задвигались, кто-то из южан невесело за смеялся. Алим продолжал:

— В Узакском районе овцы каракульские. Следовательно, погибшие овцематки дали уже в утробе своей ценные шкурки и пополнили годовой выход кара-куля. Шкурки ягнят, погибших после окота, пошли в счет каракульчи или, как Гоголь говорил, смушки, серой и золотистой. Таким образом, тут что ни голова, то шкурка. Непонятно, как Есдаулетов упустил это и не поставил себе в актив. В Ноинском районе, как известно, наоборот, овцы тонкорунные. Ягната рождаются голенькие, без шерсти, а потому подвержены простуде. Многих удалось отстоять, выходить, и это серьезное достижение, но в майские черные пылевые бури и в июньские белые дожди с градом их ждут неприятности. Ягната родились на морозе, со слабыми легкими и еще будут погибать. Так что цифра, которую назвал Касымов, неполная. Видите, какая злая диалектика!

— А ему пальца в рот не клади,— заметил Турымбетов, наклоняясь к уху Жарасова.

— Крепкий работник,— ответил Жарасов, чувствуя, что начинает побаиваться крепкого работника.

— Давайте продолжим сравнение,— говорил Алим.— Мы заслушали двух секретарей. Бюро им не мешало себя показать. Ну и показали! Один брал на себя ответственность, другой сваливал, один хотел задуматься, другой успокоиться. Есдаулетов сам о себе все сказал, добавить нечего. А о Касымове могу сказать: начав с ошибки, он ее поправлял, о себе не думая. А Жарасов? Сам на сорок дней превратился в чабана! И не охал, не плакался и не выпячивался. О нем, товарищ Касымов, надо бы вам говорить особо, мы бы вас выслушали с удовольствием.

Турымбетов толкнул Жарасова локтем, но тот низко склонил голову. В зале внезапно дружно зааплодировали.

Карпов сдержанно улыбался. Ему нравились и суть тон речи вчерашнего балтийца. И все же думалось, то Алим затеет разговор помасштабней — обопрется район, оглянется на область. Но это еще придет вместе с опытом. Этому в обкоме надо всем учиться.

Собрание с нетерпением ждало выступления первого секретаря. Судя по прошедшей зиме, человек он интересный, недюжинный, решительный и на большом оstu не случайно. От него уже привыкли слышать сиюе острое и самое существенное.

Карпов встал, далеко отодвинул стул, расправил широкие плечи. Шепот в зале стих.

— А подумать пора... — сказал Карпов. — Согласен Касымовым. И пора решать! Решать, товарищи, затарелый проклятый вопрос о джуте в нашем кочевом животноводстве. Как ни странно, факты говорят: джуту мы прижились. Падеж скота в нынешнем году — новинка. В позапрошлом году, четыре года, десять лет назад разве его не было? Если мы смиримся с этим орьким обыкновением, мы партии, народу не нужны. Там мы гарантированы от джути будущей зимой, через пять лет — и так до бесконечности? Ныне в марте выпало небывало много снега. А в прошлом были лучай, когда, наоборот, снега не было вовсе и скот погибал от жажды. Выходит, есть снег — джут, нет снега — тоже джут. Уповаляем на волю божью, но и сама ллах не в силах нам угодить. Пошлет снег — обижаемся, не пошлет — тоже скулим. Надеемся! А если не та боженьку, а на себя? Не пора ли?.. Мы выращиваем сотни тысяч овец. Сотни тысяч! Скот породистый, глеменной. Нет более стойкой и выносливой овцы, чем таракульская. Она не требует стойлового содержания, кивает на подножном корму, на степных пастбищах, под открытым небом. А ведь она в прямом смысле зодио! Тонкорунная, правда, любит, чтобы ее на руках держали, укрывали в кошарах. Но и она золотое руно Сазахстана... Могут сказать, что наше хозяйство унаследовано от века. Это не химия или физика двадцатого века, овцы! Но ведь и хлеб и хлопок нам завещали деды. А времечко-то новое! И хозяева мы новые. В наших руках фантастически широкие и щедрые земли пастбищ: степи, пески и горы. Наше дело обжить их с умом, по-хозяйски. Вот по этой части мы слабы —

просчеты, ошибки непростительные! До каких же пор, товарищи? Если земли наши кормят скот, наш долг содерхать эти земли, как кормящую мать. Иначе мы не поставим животноводство по-государственному, по-новому, как поставили, скажем, энергетику, машиностроение... Что же конкретно необходимо? Я бы сказал, три азбучных условия. Они всем очевидны. Первое — вода. В песках надо добывать обильную воду из-под земли. Второе — дороги. Как бы дорого они ни стоили, мы должны проложить и построить такие дороги, по которым летом и зимой могла бы беспрепятственно пройти машина. Третье — кров. Скоту нужны кошары, а людям не волчьи норы, а постоянное наложенное человеческое жилье.

Ахан Султанов налил из графина воды, подвинул стакан Карпову. Тот поблагодарил кивком головы.

— Иные по сей день говорят: «Казахи, мол, привыкли... Чабаны и зимою в мороз могут жить в войлочных юртах. Десятки поколений так жили...» Надо положить конец этой лживой сказке! Так жить нельзя. При двадцатипятиградусном морозе казашка мать и ребенок, казах и даже закаленный чабан, намаявшись за день в степи с овцами, ночи напролет дрожат от стужи — никакие ватные одеяла и кошмы их не согреют. И так из года в год. Видали вы когда-нибудь, чтобы ребятишки в степи играли в мяч на морозе? Или катались бы на санках? Не видали и не увидите, потому что они намерзлись за ночь. Нельзя больше терпеть, чтобы женщины рожали детей в холодной юрте или фанерном балагане. Нельзя больше терпеть, чтобы ребенок рос в лачуге, где ему и его родителям, отдающим столько труда уходу за скотом, дым костра выедает глаза. Нужно, чтобы у чабана — зимой ли в песках, летом ли в горах — было теплое жилье, где можно и печь затопить и помыться. Солдат на фронте роет окоп, а потом землянку! Юрта годится только как временное укрытие, так сказать, на марше, во время перекочевки с зимнего пастбища на летнее. Мы говорим, что борьба за овец должна начинаться с заботы о человеке. Это наш закон. Тот, кто твердит «юрта, юрта, хватит и юрты», мирится с отсталыми, консервативными, допотопными взглядами, кривит душой и не ду-

мает о человеке. Это взгляд бая на батрака. Нам он не к лицу.

В зале стояла строгая, почти торжественная тишина. Затаив дыхание, коммунисты слушали своего товарища, который с такой болью и с такой партийной резкостью говорил о том, о чем не говорил еще никто до него. Еримбетов и Жайлыбеков не сводили с Карпова восхищенных глаз. «Эх,— думал Алим,— какой человек! Какой нужный человек...» А Ахан Султанов уже не в первый раз отмечал, что Карпов излагает его собственные мысли. Все это долгими годами мучило самого Ахана, но работал он по-прежнему, как уж повелось. Конечно, было время — и руки не дотягивались и духу не хватало. А теперь пора, пора. И думать и решать! Спасибо, Нил Петрович, за урок. Школа у тебя ленинская.

Карпов подводил итоги. Идея его была такова: собрать факты, цифры, послушать советы чабанов и войти в Центральный Комитет и правительство республики с докладной запиской. Актив горячо поддержал первого секретаря.

По оргвопросу бюро обкома постановило Есдаулетова за очковтирательство и безрукость от руководящей партийной работы отстранить.

Затем на бюро был вынесен, казалось бы, частный вопрос. Многие поначалу недоумевали, зачем разбирать на активе дело об убийстве школьника в колхозе «Красная звезда», вопросительно оглядывались, искали в зале Кольбаева. Но недоумение рассеялось, когда докладчик Алмасбек Жайлыбеков сказал:

— В район выезжала специальная комиссия обкома. Она называет это дело «делом Сагита», но я бы квалифицировал его как дело Кольбаева.

Алмасбек говорил с гневом, пожалуй, еще большим, чем тогда, когда в Баба-Ате шла речь об Алуа.

— Большая и горькая правда, товарищи, в том, что женщины на юге у нас на глазах до сих пор подвергаются насилию и обидам, страдают из-за унизительных и бесчеловечных обычаяев прошлого. Отовсюду мы слышим о постыдных фактах подобного рода, возмущаемся, шумим... Не входит ли у нас это в привычку? Вопрос, как видите, давно назревший и даже пере-

зревший. А вот Кольбаев, судя по его делам, иногнения. Боюсь, что хозяйственные успехи и звезд Героя привели его в состояние ослепления, лишили зоркости.

Затем Карпов представил присутствующим Асия и дал ей слово.

Асия легким быстрым шагом взошла на трибуну

Она была миловидна и женственна. В ее облик спущались мягкость и сдержанность. Время от времени она подносила к близоруким глазам маленькую за писную книжку. Но в речи ее были деловитость и сила ни тени женской чувствительности.

— Не могу скрыть от вас,— говорила она,— атмосфера в районе тяжелая. Душно, товарищи, у Колыбаева! Недаром все, с кем бы я ни встречалась, апеллировали к моей партийной совести. Ну, прокурор Сamatov не только понять, но и слушать меня не захотел. Более того, разгневался, вы сами понимаете, на что — на мой слабый пол. (В зале одобрительно засмеялись. Я пошла в райком партии. Мухита Кольбаева уважаю не только в своей области, во всем Казахстане. Уважала и я. Но, оказывается, мало мы его знаем! Он и подумал о высшем достоинстве коммуниста, поддалась ложной низкопробной амбиции, принял защищать честь мундира. «Как это, мол, приезжая да еще женщина без прямых полномочий осмеливается меня учить!» Я спрашивала себя,— иронически заметила Асия,— а может быть, человек попросту утомился повседневной текучке?.. Так походя и запамятаю свой партийности...

Алмасбек и Асия задали тон. Товарищи из разных районов просили слова.

Говорили о бесприципной, отвратительной семейственности, которая заражает подчас районных руководителей. С чего она начинается? С безобидных вещей: люди ходят друг к другу в гости, вместе выезжают на охоту... И, между прочим, играют преферанс. Картежная игра стала бичом и бедой в районах.

Секретарь горкома Сидоркин говорил, что встречи за картами нередки и в Баскенте. Они много чаще, чем на стадионе или в театре. У Кольбаева судья, прокурор, начальник СМУ Бейсен каждый свободный час

проводили за преферансом. Сам товарищ Кольбаев садился с ними четвертым... Собравшись келейно за преферансом и бесбармаком, они и решали между собой важные дела. Такова типичная картина бесбармашничанья: закусишь, выпьешь, покидаешь картишки, а там уж и смотришь сквозь пальцы, мирвоишь своим собутыльникам, защищаешь их от критики.

Ожидали выступления Кольбаева. И он выступил. Он признал, что встречался с прокурором, судьей, Бейсеном за карточным столом. Да, было... А что ж тут особенного? Кольбаев спокойно смотрел прямо в зал, не склоняя своей коротко остриженной круглой головы. Его речь лилась плавно, непринужденно.

— Эти люди не с улицы — ответственные работники, проверенные товарищи. Вот, говорят, играть в карты нехорошо. Все говорят. Но ведь играют! А почему? Да потому, что нет у нас ни театра, ни филармонии, ни лекций, ни концертов. Областным работникам, конечно, трудно нашего брата понять...

Но при всем сказанном Кольбаев не такой человек, чтобы променять на карты партийную честь или допустить самомалейший урон государственным интересам в руководимом им районе! Критика ведь хорошая, но пусть товарищи думают, о чем и о ком говорят.

По делу Сагита скажу прямо: не могу я делать все своими руками. На это есть люди... Я с прокурором разговаривал и строго напомнил об указаниях партии и правительства. Этого и комиссия из области не отрицает, в материалах комиссии об этом сказано недвусмысленно. Так что мы не только в карты играли. Допускаю, была судебная ошибка...

— Не ошибка, а преступление! — перебил Кольбаева из президиума Султанов. — Областной суд по кассационной жалобе решил пересмотреть дело.

— Да? — Кольбаев высоко поднял брови. — Что ж, очень правильное решение. Если имеются преступники, кроме Сагита, и они получат по заслугам. Надо думать, что так, — закончил Кольбаев, уверенный, что сам он оправдался.

Был объявлен перерыв. В буфете за айраном, чаем, бутербродами, стоя и сидя, коммунисты продолжали разговор, начатый в зале заседания. Говорили, что и в

Алма-Ате иные ответственные работники, специалисты ученые, актеры не поднимают головы от карточного стола.

Сидоркин смеясь сказал:

— Небось они тоже, как наш Кольбаев, жалуются что скучно после работы. Им и в столице культуры не достает.

Секретарь Кировского райкома Турымбетов заметил:

— Этим и в Москве некуда деться. Засядут в гостинице и играют с утра до ночи. Уж играли бы в поездах — долго ехать. Так они и в самолетах и даже в автомобилях режутся в железку как одержимые.

Тем временем приятель Кольбаева, директор совхоза, вполголоса подбадривал его: хоть и взялись крепко критиковали остро, тем и обойдется. Предупредят, и все

— Ничего тебе не будет. Захотят виновных наказать, найдут кого. А от слов никакая болячка не пролепится. Молодец, в панику не ударился. Хорошо говорил, убедительно.

После перерыва Карпов подытожил прения.

Он начал с того, что вспомнил страшную историю Алуа. О ней здесь слышали многие... А вот нынешняя практика, с которой Карпов столкнулся лично, охватила жалоб в Узакском районе, целый водоворот кляуз семейных раздоров, затяжная тяжба из-за молодообразованной девушки, которая не захотела подчиниться замшелым обычаям. Как известно, эти раздоры имели тяжелые последствия, они стали одной из причин массового падежа скота в совхозе «Конекент». Дальше — чудовищный случай в районе Кольбаева. Этот случай вновь зовет партийную организацию области: спешите на помощь женщине.

— За последние десять лет, — говорил Карпов, — количество девушек нашей области, учащихся в вузах, и без того ничтожное, не выросло ни на одну единицу. Почему? На этот вопрос отвечают трагедия Айслу и трагикомедия «Конекента»...

Бюро и актив слушали первого секретаря с напряженным и пристрастным интересом. Основываясь на многих фактах, он делал важные обобщения и тут же строил программу практических действий, в которых ничего не было забыто: ни большая политика, ни таки

«мелочи» и подробности, как детские ясли и образцовые общежития для учащихся девушки, молодых работниц. Умел Карпов и в частном факте увидеть сокровенный смысл и ненавязчиво, но настойчиво, по-деловому учил этому умению товарищей.

Кольбаеву он сказал с невеселым вздохом:

— Уж лучше бы ты промолчал, товарищ Мухит. Попросил бы часок времени подумать, что ли...

Приятель Кольбаева со скорбным видом склонился к его уху и шепнул: «Строгач...»

— В заключение реплика товарищу Сидоркину, — продолжал Карпов. — Он употребил тут забавное словечко: бесбармашничать.

В зале задвигались, оживились. Карпов намеренно повторил это нескладное слово несколько раз, то нарасспев, то скороговоркой. Он словно пробовал его на слух и так и этак...

— Товарищи... Бесбармак — казахское национальное блюдо. Его вкус знает каждый из нас. Я в доме чабана, в гостях, ел его с большим удовольствием. И хочу спросить: нужно ли превращать это слово в ругательное, постыдное, уничижительное, как это сделал товарищ Сидоркин? Тогда узбеков и таджиков можно обвинить в том, что они пловничают, азербайджанцев, армян и грузин, что они шашлычничают, а украинцев, что галушницают? Разве плов, шашлык и галушки идейно выдержаннее, чем бесбармак? Или он, бедняга, хуже других блюд? Я бы все же предпочел и считал бы правильнее называть вещи своими именами: карты — картами, а пьянство — пьянством!

Собрание ответило оратору смехом и шумными аплодисментами. Аплодировали Карпову долго, подчеркивая этим, что почувствовали его чуткость к национальному достоинству казаха.

Бюро обкома единогласным решением сняло с работы и исключило из партии всю четверку: судью Бекбаева, прокурора Саматова, начальника СМУ Бейсена и председателя райпотребсоюза Абильмажина. Секретарю райкома Кольбаеву бюро объявило строгий выговор. Вопрос о его пребывании на посту секретаря был оставлен до пленума райкома.

После бюро Жакен вместе с Асией зашли в кабинет Карпова.

Асия возмущалась речью Кольбаева и его болтовней в перерыве в буфете. Повернулся же язык у человека повторить подлую версию о том, что Сагит любил Айслу!

— Нашел любовь... Сагит — жертва любви...

И вдруг Жакен засмеялся басисто и раскатисто, сотрясаясь всем своим грузным телом. Яркие, лучистые его глаза сощурились.

— А что вы думаете? И любовь! И жертва любви! — неожиданно проговорил он. — Вы знаете, в этом году в зоопарке я случайно увидел, прошу прощения у дамы, какправлял свои естественные надобности лев. Это было, разумеется, не слишком привлекательное зрелище и вместе с тем, представьте, величественное... Когда заговорили о любви Сагита, я вспомнил об этом случае. Вы спросите, почему? И вправду, почему? — повторил Жакен, поочередно глядя то на Карпова, то на Асию помолодевшими, озорными глазами. — А потому, друзья мои, что лев... он и оправляться будет по-львиному. А скотина... она и любит по-скотски! Засим, Нил Петрович, и вы, Асия примите мою сердечную благодарность и позвольте мне отнести мои старые кости хотя бы на гостиничный диван. И зачем я сюда приехал, сам не знаю...

Карпов, смеясь, долго тряс руку Жакена.

— Ради одного этого афоризма, уважаемый доктор, вам стоило приехать!

Примерно через неделю состоялся суд. Сагит был приговорен к смертной казни, которая была заменена пятнадцатью годами тюремного заключения

Старый Танат привез из Баскента письмо.

«Нурбубу, сестра, и сестрица Айслу,— писала Асия.— Жакен и я шлем вам свои приветы. Все мы, ваши друзья, говорим теперь: пора вам поднять головы.

Ты, Айслу, отныне станешь для матери и дочерью и сыном. Сама наберись мужества и придай мужества ей. Во имя светлой памяти героя Отечественной войны, твоего отца, во имя чистой памяти брата ты должна

быть крепкой, сильной, настоящим гражданином нашего общества. Я обращаюсь к твоей совести, ясному уму, горячему сердцу: учись. Это наказ тебе и от дяди Жакена. Сообщи мне, какой институт ты избираешь.

И будет плакать и отчаиваться. Не терзай своего сердца понарасыну. Вся твоя жизнь впереди. Все пути тебе открыты. Оглянись на себя: ты молода, прекрасна душой и телом. Ты умная и волевая девушка. И ты возьмешь от жизни свою законную долю, завоюешь себе достойное место среди людей, которые вправе тобою гордиться, сестричка милая.

Да будет светлым твое будущее, да сбудутся твои высокие мечты! Этого я желаю тебе и твоей матери от всего сердца.

Крепко целую тебя и сестру Нурбубу. Ваша Асия».